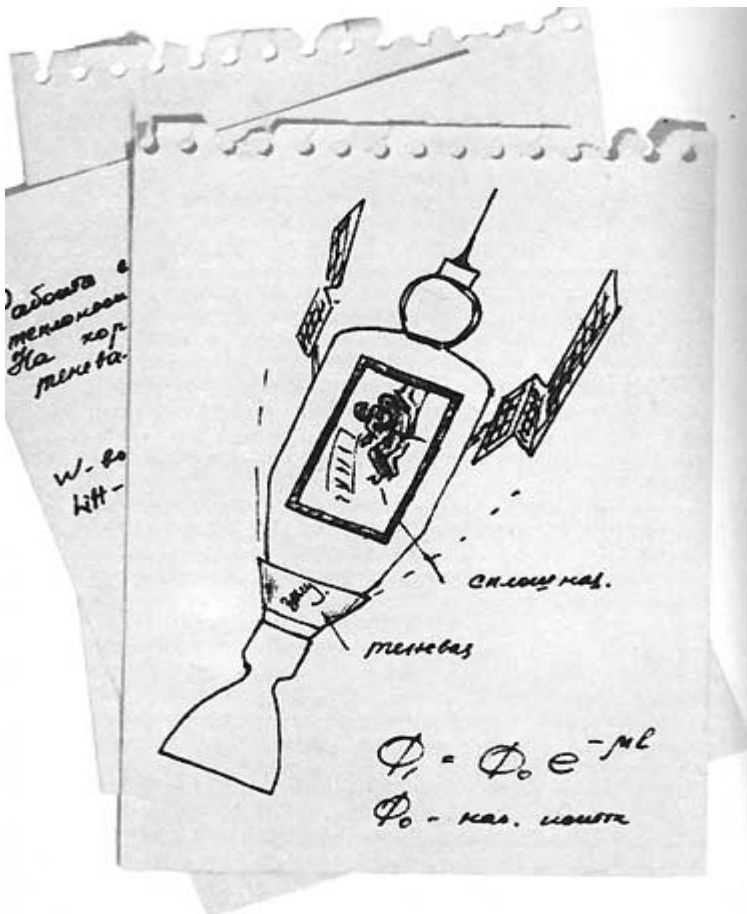


Я.ГОЛОВАНОВ  
КУЗНЕЦЫ ГРОМА

Низкий, низкий поклон вам,  
люди,  
Вам,  
великие,  
без фамилий  
Роберт Рождественский.



Маленький рабочий кабинет Главного. По левую руку от стола — пульт с кнопками, микрофон и два телефона: один обычный, черный, и другой, белый, с золотым советским гербом на диске. На круглом столике — лунный глобус и тарелка с двумя румяными яблоками.

За столом, устало расслабившись, сидит мужчина лет пятидесяти, плотный, с седым бобриком, в очках с тонкой золотой оправой. Руки играют толстым красным карандашом. Есть такие очень обыкновенные карандаши под названием «Особый».

Перед столом лейтенант, летчик. Молодой белобрысый мальчик. Он позволяет себе вольность: стоять не по стойке «смирно», а в такой непринужденной позе, располагающей к неофициальному разговору. В то же время он старается казаться собранным и молодцеватым.

— Значит, вы вместо Чантурия? — спрашивает человек за столом,

— Так точно, — бойко отвечает лейтенант.

— Та-ак...

Молчат. Дверь тихонько приоткрывается. Именно **приоткрывается**: входит Сергей.

— Заходите. — Человек за столом говорит это лениво, без тени какой-либо приветливости. — Вы из лаборатории Бахрушина?

— Да, Степан Трофимович, — подтверждает Сергей.

— Ваша фамилия...

Сергей понимает, что Главный не вспомнит фамилию, не вспомнит, потому что не знает. И подсказывает:

— Ширшов.

— Так это вы Ширшов? — Человек за столом с нескрываемым любопытством разглядывает Сергея.

— А что?

— Да нет, ничего, — весело говорит Степан Трофимович, отмечая в памяти лицо Сергея. — Знакомьтесь. Этот товарищ вместо Чантурия...

Сергей протянул руку:

— Сергей.

На лицо лейтенанта прорвалась улыбка:

— Раздолин.

— Отведите его в пятый корпус, покажите машину. Там как раз занятия сейчас, — говорит Ширшову человек за столом и, обернувшись к лейтенанту, спрашивает: — С пропуском у вас все в порядке?

— Так точно, — с веселой готовностью отвечает лейтенант.

Человек за столом снимает очки, жмурясь, потянул бумаги с угла стола. Это значит: разговор окончен...

И вот они уже идут по просторному двору завода. Весна. Яркое, звонкое апрельское небо. В синей тени корпусов лежит грязный, пресно пахнущий сырým погребом снег. Еще висят кое-где блестящие, хрустально чистые зубья сосуллек, но крыши уже сухие. На одной из них, раздевшись до пояса, лежат на животе двое маляров. Они выкрасили почти всю крышу и оставили себе лишь небольшой сухой и теплый островок и тропинку к пожарной лестнице.

Корпуса новые, светлые, с широкими блестящими полосами стекла, стоят ровно и свободно. Двое идут по асфальтовой дорожке, обходя лужи, в которых плавают нежные облака. Иногда Сергей искоса взглядывает на Раздолина. «С Чантурия его не сравнить, Чантурия был орел», — думает он.

И вдруг!.. В серебряной водосточной трубе что-то треснуло, оборвалось и с громким пугающим шорохом покатилося вниз. Из зева трубы посыпались острые осколки льда. Раздолин, еще не поняв, что случилось, инстинктивно шархнул в сторону.

«И этот человек полетит на Марс?» — со злой обидой думает Сергей.

## 2

В комнате шесть письменных столов. Комната большая, светлая, в два окна. Если подойдешь к окнам, увидишь новые четырехэтажные корпуса семнадцатой лаборатории, асфальтовые дорожки, обсаженные молоденькими тополями, и маленький бетонированный бассейн, над которым всегда рваными клочьями поднимается пар: семнадцатая спускает туда горячую воду со своих стендов. Зимой тополя у бассейна всегда в мохнатом инее.

На подоконниках в комнате два хиленьких цветка, стакан и мутный, залапанный графин с водой. Один цветок заботливо подвязан к щербатому движку логарифмической линейки, воткнутому в землю. На потолке комнаты четыре белых, унылых конических плафона; их уже, впрочем, не замечают, к радости начальника АХО, противника вообще каких бы то ни было преобразований в инженерном быту.

В комнате шесть столов, «лицом» к окнам, по два в ряд. И шесть стульев. Нет, стульев пять. За первым столом у окна в левом ряду — жесткое кресло. Столы одинаковые: желтенькие, с одной тумбочкой, скромнее и дешевле которых не бывает.

Людей, которые работают за этими столами, сейчас нет. Не часто случается, что уходят все, но иногда случается. Впрочем, столы могут тоже кое-что рассказать об этих людях.

Стол Бориса Кудесника, обладателя единственного кресла, покрыт толстым стеклом. Под стеклом табель-календарь с рекламой сберегательных касс, фотография маленького глазастого мальчишки и какие-то аккуратно нарисованные таблички, назначение которых, как и смысл букв и цифр, известны одному Кудеснику. Настольная авторучка в виде ракеты, телефон и кресло так отличают стол Кудесника от всех других столов, что опытный глаз сразу определит в нем стол начальника. И не ошибется: Кудесник — начальник сектора, остальные пятеро — его сотрудники. Кудесника нет, его вызвал Бахрушин: перед большим совещанием у Главного Бахрушин, как всегда, устроил свое, маленькое совещание, «разминку».

Справа от стола Кудесника стол Сергея Ширшова, того самого, который ведет сейчас лейтенанта Раздолина в пятый цех. Это чистая случайность, что в комнате нет Ширшова. Вызвали ведь не его, а Кудесника. Но Кудесника не было, и Антонина Николаевна, секретарша Главного, сказала: «Ну, все равно, пусть придет кто-нибудь из его сектора». И Сергей с удовольствием пошел. Пошел с удовольствием, но это совсем не значит, что Сергей какой-нибудь подхалим, использующий все удобные и неудобные случаи, чтобы покрутиться у начальства перед глазами. Среди людей, работающих в этой комнате, подхалимов нет. Просто Сергею интересно было пойти к СТ. (Было принято называть Главного инициалами имени и отчества. Этого человека уважали по-настоящему, никогда не скатывались до фамильярностей, вроде «Степан» или «Трофимыч». Просто так уж повелось: Бахрушин был «Бах», реже — «шеф», Главный — Эс Те.) Итак, на втором столе, столе Сергея Ширшова, стояла только дюралевая втулка, заменяющая ему весь письменный прибор. Во втулке остро отточенные, хищные такие карандаши. Как стрелы в колчане. И все. Ширшов очень не любит, когда у него берут карандаши. Дело даже не в том, что карандаш можно сломать. Карандаши тупятся, а Ширшов любит только острые карандаши.

За спиной Кудесника стол Нины Кузнецовой. Он покрыт перевернутой наизнанку миллиметровкой, которую она меняет чаще, чем Витька Бойко рубашки. Девственно чистое поле уже обезображено несколькими торопливыми строчками с томными лебедиными шеями интегралов и пометкой для памяти: «Отдать Квашнину каталог».

Сосед Нины справа — тот самый Виктор Бойко, о рубашках которого шла речь. На его столе привычный для всех обитателей комнаты завал бумаг и чертежей, исчезающий перед концом рабочего дня и с волшебной быстротой вырастающий вновь каждое утро. За

это Бахрушин под горячую руку однажды уже сделал ему нагоняй, что не дало, впрочем, никаких заметных результатов. Нина и Виктор сейчас на занятиях у машины в пятом цехе.

На стене у пятого стола приколоты кнопками фотография кота с одним прищуренным глазом, вырезанная из немецкого иллюстрированного журнала. Под котом — таблица футбольного первенства. На столе пузырек чернил для авторучки. Из него «сосут» все. За этим столом работает Игорь Редькин.

Наконец, последний, шестой стол, стоящий за спиной Нины, принадлежит Юрию Маевскому. Он тоже покрыт миллиметровкой, но не вывернутой наизнанку. На ее бесчисленных квадратиках добрый десяток абстрактных орнаментов — плоды неосознанной игры ума. На столе Маевского письменный прибор: две чернильницы на мраморной доске. Прибор очень мешает Маевскому, но он его почему-то не выбрасывает, хотя грозился сделать это много раз.

Итак, в комнате шесть столов. Комната эта, часть лаборатории профессора Виктора Борисовича Бахрушина, — почти совсем невидимая ячейка в масштабах огромного человеческого улья, в гигантском комплексе лабораторий, испытательных стендов, конструкторских бюро, цехов опытного производства и десятков обслуживающих их звеньев, начиная от подстанции и компрессорной, кончая библиотекой спецлитературы, очень хорошей поликлиникой и очень плохой столовой. В этой комнате работают шестеро. Шестеро из тысяч, подобных им.

### 3

Большое координационное совещание готовилось задолго и началось, как и полагается такому совещанию, без опоздания — точно в одиннадцать часов.

Это уже другой кабинет Главного — для заседаний. Большой, высокий. Современная мебель. Полированные до зеркального блеска столы с ножками чуть в сторону. Стоят столы, однако, по старинной, должно быть, допетровских времен традиции: буквой Т. Посередине перекладины Т сидит Главный. Все места за столом заняты. У стены на гнутых, блестящих ярко-красным пластиком стульях тоже сидят. Всего человек тридцать. А может быть, и больше. Много народу нездешнего, незнакомого. Незнакомого, впрочем, Кудеснику. Он сидит у стены: слишком мелкая сошка, чтобы сидеть у стола. Бахрушин (вот он сидит у стола) знает почти всех. Эс Те, разумеется, всех. Совещание идет уже два часа, и конца ему не видно. Виноваты математики: очень долго морочили они всем головы в своем докладе по траекториям. Главный верил математикам, знал, что все у них было готово еще месяца четыре назад, и обстоятельность их доклада раздражала его. Траектории его не волновали, не в них сейчас дело. Главный нервничал: времени прошло уже много, и он боялся, что другие вопросы, поважнее траекторий, начнут комкать. Он понимал, что если кто-нибудь начнет «проворачивать поскорее», придав тем самым разговору другой тон и ритм, то даже ему, председателю, исправить положение будет нелегко. Главный знал толк в совещаниях. Поэтому он обрадовался, что доклад о ТДУ — тормозной двигательной установке — был хоть и кратким, но подробным и деловым...

— Так, с ТДУ все ясно,- говорит Главный, — пошли дальше. Служба Солнца. Прогноз на время полета. Прошу, Юлий Яковлевич.

Этого Кудесник знает. Юлий Яковлевич Венгеров — астроном, академик. «Загорелый, черт, — с завистью думает Борис. — Хорошо ему там, в Крыму. Курорт, а не работа». Венгеров действительно выглядит ну просто превосходно. Он еще совсем не стар для академика, тем более для академика-астронома, — лет сорок, от силы сорок пять. Весь какой-то ладный, красивый, загорелый, с крепкой молодой шеей. По шее — ослепительный крахмальный воротничок. От него шея кажется еще чернее. «Командировку бы к нему выбить у Баха», — думает Кудесник. Но знает: все это мечты, сроду не было такого, чтобы в Крым давали командировку. Да, откровенно говоря, ведь и нужды в ней нет никакой... А в

Крым хочется. Он ездил в отпуск в Коктебель в прошлом году. Здорово! Потом родился Мишка, и...

Пока Кудесник предается воспоминаниям, академик начинает говорить:

— Товарищи! Новости у нас малоприятные. За последние два месяца происходит нарастающий процесс периодических быстрых сжатий магнитных полей Солнца. Это приводит к кратковременному нагреву солнечного газа до температуры порядка тридцати — тридцати пяти миллионов градусов. Быстрый нагрев, в свою очередь, ведет к возникновению рентгеновского излучения и выделению частиц больших энергий, в том числе весьма концентрированных пучков протонов с энергией до ста двадцати миллионов электроновольт...

— Сколько? — резко перебил академика маленький лысый человечек, сидящий напротив Бахрушина.

— До ста двадцати миллионов электроновольт, — спокойно повторил астроном. — Нет никаких оснований считать, что к июлю эти процессы затухнут. Наоборот, можно предположить, что они будут прогрессировать, так как отмечено, что...

— Но, Степан Трофимович, — взмолился маленький, лысина которого мгновенно стала младенчески розовой, — ведь это при нашей защите превысит допустимую дозу облучения! Шутка ли, сто двадцать миллионов?! — И он оглянулся вокруг, призывая собрание разделить его негодование.

— Простите, Юлий Яковлевич. Вот ваши рекомендации, — Главный вытащил из папки несколько сколотых скрепкой бумаг, — исходя из которых рассчитывалась биозащита. Ни о каких ста двадцати миллионах тут речи нет.

Кудесник уже бывал на подобных совещаниях и знал, что этот вкрадчивый, почти ласковый тон Эс Те не предвещает ничего хорошего.

— Степан Трофимович, вы просили среднегодовые цифры интенсивности вспышек, и мы их вам дали. — Венгеров сел.

— Мы ничего не просили. — Ласковые ноты уже исчезли. «Начинается», — подумал Борис. — Нам нужны рекомендации по биозащите корабля. Вот их мы и получили. А теперь вы даете прогноз, из которого ясно, что ваши собственные данные занижены.

— Если бы мы могли прогнозировать Солнце на годы, весь этот разговор был бы ни к чему.

— Да вы понимаете, что мы не можем менять биозащиту? У нас каждый килограмм на счету...

Степан Трофимович, очевидно, этот вопрос относится к биофизикам. — Венгеров уже плохо сдерживал раздражение.

— Этот вопрос относится к вам! — взревел Главный. — Я доложу о срыве по вашей вине программы, утвержденной правительством! И тогда мы будем говорить не здесь... Вот там, — Главный ткнул большим пальцем вверх. — Посмотрю, как вы там будете рассказывать, вы и расскажете, откуда берутся ваши протоны...

— Активность Солнца от этого не уменьшится! — отпарировал астроном.

— Речь не о Солнце, а об ответственности за свою работу! Зачем нам нужна эта филькина грамота?! — Главный потряс в воздухе листками. — На какие нужды ее прикажете употребить?!!

Никто не улыбнулся. Кудесник увидел, как тесно стало загорелой шее астронома в крахмальном воротничке.

— Поймите, наконец, — заорал Венгеров, — что существуют нестационарные процессы, которые...

— А плевать мы хотели на ваши нестационарные процессы! Раньше надо было думать о нестационарных процессах! Что нам теперь прикажете делать с вашими нестационарными процессами?!

Оскорбленный академик отвернулся.

— Аркадий Николаевич, сколько вы потребуete еще на биозащиту? — секунду передохнув, спросил Главный у маленького.

— Думаю, килограммов восемьсот-девятьсот.

— Во! Восемьсот-девятьсот! Вы знаете, что это такое — восемьсот-девятьсот килограммов, — снова набросился Главный на Венгерова.

Только услышав такую цифру, Кудесник понял, насколько все это серьезно. Утяжелить корабль почти на тонну. Как?

— Извините, Степан Трофимович, но продолжать разговор в подобном тоне я считаю бессмысленным. «Сейчас или пойдет волна цунами, — думал Борис, — или начнется отлив».

— Отлично! Послушаем двигатели, — спокойно сказал ЭсТе.

«Отлив», — понял Кудесник.

Поднялся красивый, со звездой Героя Социалистического Труда на модном пиджаке представитель могучей фирмы двигателистов.

— Форсирование двигателей так, чтобы взять восемьсот-девятьсот килограммов полезной нагрузки в сроки, которые у нас есть, невозможно. Вы сами это прекрасно понимаете, Степан Трофимович.

— Так! — торжествующе сказал Главный, словно даже обрадовавшись этому ответу, и быстро взглянул на Венгерова. — Что скажет седьмая лаборатория? — Он обернулся к Бахрушину.

Очень спокойный, встал Бахрушин. И сказал, как всегда, коротко, просто и убедительно:

— Увеличение веса потребует новой отработки системы ориентации, даже если мы впишемся в ту же геометрию. Ну а если не впишемся, — Бахрушин развел руками, — тогда сами понимаете. Летит к черту вся аэродинамика, все заново... Кроме того, увеличение полезной нагрузки потребует новой тормозной установки или форсажа старой. И на то и на другое нужно время, хотя бы месяцев шесть...

Бахрушин сел.

— О каких шести месяцах может идти речь? — картавя, спросил носатый человек в очках. Его Борис тоже знал, только фамилию забыл. Он из Астрономического института. — О каких шести месяцах может идти речь, — повторил очкастый, — если противостояние Марса начнется в октябре! Можете делать вашу установку четырнадцать лет, до следующего противостояния...

— Откладывать запуск, срывать программу нам никто не позволит, — глухо сказал Степан Трофимович. — Какие будут предложения?

Долгое, тягостное молчание. Отвели глаза. На Главного никто не смотрит. Народ тут сидит опытный. Знают: сейчас сказать что-нибудь невпопад опасно вдвойне. Да и что скажешь, по правде говоря? Как ни крути, а восемьсот килограммов — сила!

— Надо снять одного космонавта, — неожиданно для самого себя вдруг сказал Борис Кудесник. — Это даст около тонны веса и место для экранов защиты. Полетят не вдвоем, а вдвоем...

Все обернулись на его голос. Все смотрят на него. У него красивое от волнения лицо. Густые вразлет черные брови. Упрямый подбородок. И очень молодые глаза. Все смотрят на него, а потом тихонько переводят взгляд на Главного: что скажет?

#### 4

Огромный многоэтажный цех. Пятый цех, цех общей сборки. Если подняться к его стеклянной крыше — туда, где под рельсами мостовых кранов тяжело висят перевернутые вверх ногами вопросительные знаки крюков, — перед вами предстанет — удивительная, грандиозная панорама, центр которой занимают гигантские тела ракет — циклопических, невероятных сооружений, монументальность которых может соперничать с великими пирамидами. Ракеты расчленены на части — значит, скоро в путь. Только так, по частям,

можно вывезти ракету из цеха, доставить на ракетодром. Это будет уже совсем скоро — в июле. Если будет.

В цех входит Ширшов. За ним — Раздолин. Входит и останавливается перед зрелищем ракет.

— Ну, вот они... — говорит Ширшов.

Раздолин молчит. Он знал, что они большие, очень большие, но никогда не думал, что они **такие** большие.

— В порядке телега? — улыбается Сергей, покосившись на Раздолина. Не очень-то он чуткий человек, этот Сергей, и всякие восторги людские для него так, «коту редькинскому под хвост». (Это он так любит говорить, имея в виду фотографию — единственное украшение их комнаты.) Он знает, что Раздолин видит ракету в первый раз, понимает его, помнит, как сам увидел ее впервые (не эту, лунную, чуть поменьше) и стоял — не вздохнуть, не выдохнуть. Но сейчас он показывает Раздолину ракету и уже поэтому не может проявлять никаких восторгов. «Для меня это — дело привычное. Быт», — вот что он хочет сказать своей улыбочкой-ухмылочкой и «телегой». Хочет сказать и наврать, потому что, сколько бы раз он ни видел ракету, она всегда волнует его, всегда остро чувствует он щемящий душу восторг, глядя на маленькие фигурки людей рядом с ней, такие маленькие и слабые, что нельзя поверить, будто они создали ее. Ширшов, человек в чувствах своих скупой, здесь, в цехе, испытывает радостную влюбленность в людей. И чувство это кажется ему каким-то книжным, надуманным, недостойным настоящего мужчины. В его лексиконе подобного рода волнения называются «размазыванием соплей».

— Домчит с ветерком, — опять говорит Ширшов и тут же понимает, что чувство меры уже изменяет ему. Черт его знает, может быть, он и не такой уж нечуткий человек, этот Ширшов.

— Значит, ты теперь вместо Чантурия? — спрашивает Сергей, помолчав.

— Вроде пока да.

— По правде сказать, мы удивились, когда Коля сказал, что Чантурия сняли... Здоров, как бык...

— Галактион самый здоровый, это верно, — соглашается Раздолин. — Немного нервничал в сурдокамере, вот и сняли... Он потом шумел. «Я, — говорит, — общительный человек. Надо это учитывать...»

Сергей улыбнулся.

— Тебе смешно, а ему? Я и сам не понимаю, зачем сурдокамера, когда летят втроем... Ну, ладно... Пошли?

— Ну пошли...

И они идут к одной из ракет и становятся все меньше и меньше не только потому, что удаляются, но и потому, что приближаются к ней.

## 5

Ракеты предназначались для «Марса» — межпланетного корабля с людьми на борту. Снаружи «Марс» был прост и бесхитростен. Простота эта была, как говорил Бахрушин, «не от хорошей жизни». Атмосфера Земли заставляла конструкторов идти на обманчивый примитивизм форм. Там, на своей широкой космической дороге, послушный воле своего капитана, «Марс» должен был преобразиться. Раскрывались защитные створки иллюминаторов, обнажалась ячеистая поверхность солнечных батарей, из сложных электронных семян медленно прорастали длинные и тонкие стебли радио- и телеантенн и, поднявшись, распускались на конце причудливыми серебристыми цветами, чашечки которых, как подсолнухи к Солнцу, поворачивались к Земле.

Там, на миллионнокилометровой черной дороге Космоса, корабль преображался не только внешне: начиналась его сложная, рассчитанная до миллиметров, граммов, долей секунды жизнь.

Победив тяготение планеты, он мчался с точностью, в тысячи раз превосходящей точность курьерского поезда. Невидимые рельсы траектории вели его к той точке бескрайней бездны, куда через три месяца после старта корабля, подчиняясь законам небесной механики, должен был прийти Марс. Эти рельсы лежали на миллионах шпал математических формул. Их было так много, что будь все люди Земли математиками, они не смогли бы справиться с легионами вопросительных знаков, заключенных в них. Тогда на помощь пришел электронный мозг вычислительных машин, способный в тысячи раз обгонять человеческую мысль. Подобные же машины рассчитывали тепловые режимы двигателей всех ступеней и аэродинамический нагрев корпуса, решая сумасшедшую головоломку спасения металла и человека от жара, соизмеримого с жаром поверхности солнца.

Внутри корабля размещались двигатели управления и тормозные двигатели мягкой посадки, готовые к работе каждую секунду. Это они должны были потом поднять корабль с Марса в точно назначенный срок: 17 октября в 04 часа 47 минут по московскому времени. Внутри корабля были втянуты телескопические «ноги», которым предстояло отпечатать первые следы на песке марсианских пустынь. Внутри были радио- и телеаппаратура — советчик, друг, надежда и отрада, живой голос и лицо Родины.

Внутри неслышно работала заботливая аппаратура терморегулирования, автоматы искусственной атмосферы и другие регенерационные автоматы, ежесекундно обновляющие эту атмосферу.

Внутри — пища и вода — самое лучшее, самое питательное, самое вкусное, чем только могла накормить и напоить Земля.

И все это и многое другое надо было не просто предусмотреть, выдумать и рассчитать, но и **сделать**. Создать неведомые сплавы, топливо сказочных свойств, материалы, которых нет во всей солнечной системе. Надо было плавить и полировать, точить и варить, штамповать и клеить, выпаривать и перегонять — не просто хорошо, а невиданно хорошо. Мощность двигателей измерялась миллионами лошадиных сил, но чем измерить силу и нежность человеческих рук, нажимающих на кнопки низко гудящих электронных машин, двигающих послушный угол линейек кульманов, сжимающих рукоятки широких, как река, рольгангов прокатных станков, масляно блестящие штурвалы станков. Мозолистых и хрупких, легких, как птицы, и тяжелых, как булыжники, нескладных и ловких, в белых перчатках и в саже, с маникюром на ноготках и черноземом под ногтями — живых человеческих рук. Миллионы людей строили этот корабль, быть может, не всегда зная, что они строят именно его. Но они знали нечто более важное, знали Главное, знали, что они строят Будущее. Уже не то, туманное, далекое, доступное правнукам, похожее на розовую сказку о райских садах, а живое, завтрашнее, трудное, очень трудное иногда, но уже не то, в которое **верили**, а то, которое **делали** каждый день. Может быть, поэтому и не казался всем этим людям фантастикой полет к планете Марс.

## 6

Подходя к кораблю, Андрей Раздолин подумал, что «Марс» похож на снаряд героев Жюль Верна, летавших из пушки на Луну. Рядом с «Марсом», который нависал над ним своим блестящим цилиндрическим боком, стояли летчики из группы космонавтов: Анатолий Агарков, Николай Воронцов и инженеры из сектора Кудесника: Нина Кузнецова и Виктор Бойко.

— Ну, вот и наш третий, — говорит Агарков, завидев Раздолина. — Знакомьтесь.

Бойко протягивает руку:

— Виктор.

— Раздолин.

— Нина.

— Раздолин, Андрей.



— Вот и хорошо, Раздолин Андрей, — говорит Нина. — Вы на макете работали?

— Конечно, — Андрей широко улыбается, — восемьдесят часов.

— Тогда давайте поработаем восемьдесят первый час уже не на макете.

Она с привычной ловкостью взбирается по трапу к люку «Марса». Юбка узкая, и лезть трудно. Нина поднимается как-то бочком. Андрей улыбается, глядя, как это у нее получается. Глупая у него привычка — вечно улыбаться. От этого у него иногда какой-то придурковатый вид.

Просторная кабина, все стены, пол и потолок в белом мягком пенопласте. Андрей огляделся. Три кресла, похожи на самолетные. Все это давно известно. Пульты с приборами, все знакомое. Даже кнопки того же цвета, что на макете. Андрею стало скучновато.

Нина садится в одно из кресел, кивает Раздолину:

— Садитесь.

Андрей садится.

— Двойка, — говорит Нина. — Это кресло Агаркова.

Андрей опять улыбается, пересаживается и думает: «Занятная девчонка...»

— Так. Начнем, — строго говорит Нина,

— Один вопрос, — перебивает Андрей.

— Уже?

— Лучше заранее...

— Пожалуйста.

— Сколько вам лет?

— Вы и на макете начинали с этого?

Андрей хотел отпарировать, уже рот открыл, но... не нашелся.

— Больше нет вопросов? — весело спрашивает Нина. — Итак, начнем. Старт вы знаете. По радио и телевидению вас будет гонять после обеда Селезнев. Знаете Селезнева?

— Нет.

— Узнаете: душу вынет... А вот ответьте мне на такой вопрос. Посадка на Марс. Высота орбиты сорок километров, температура на борту поднялась до тридцати пяти градусов. Угол между осью корабля и касательной к орбите десять градусов. Угол между осью корабля и плоскостью орбиты двадцать градусов. Агарков и Воронцов, допустим, спят. (Нине почему-то весело.) Что будете делать?

— Разбужу Агаркова и Воронцова, дам им чистые майки: в такой жаре они наверняка вспотели...

— Если вы пришли сюда шутить, идите и посидите в курительной. Там у сборщиков салон анекдотов.

— Ну, вот вы сразу...

— Хватит! — резко говорит Нина.

Раздолин понимает, что дальше так не пойдет.

— Прежде всего перевозжу терморегулятор на...

— Ничего не надо объяснять, — перебивает его Нина. — Действуйте.

Андрей трогает рычажки, нажимает красные кнопки, вращает красивые белые штурвальчики и наконец снова откидывается в кресле.

— Хорошо, — говорит Нина. — Главное, быстро. Теперь так: торможение с орбиты спутника Марса. В десяти километрах от поверхности скорость превышает расчетную на километр в минуту...

— Не может этого быть, — убежденно говорит Андрей.

— Ну, хорошо, на пятьсот метров.

— Даю форсажный режим...

— Действуйте!

Андрей снова что-то нажимает, смотрит на циферблаты.

— Куда смотрите? — спрашивает Нина.

— Вот сюда смотрю. — Андрей тычет пальцем в стекло прибора. Ее опека начинает его злить: «Что я, совсем идиот, что ли, не знаю, куда смотреть...»

— Правильно смотрите! — Нине снова почему-то весело.

«Издевается!» — думает Раздолин.

Он резко оборачивается, но, увидев смех в ее глазах, снова улыбается...

Виктор Бойко говорит Агаркову и Воронцову, задумчиво поглаживая гладкий бок корабля:

— Тут еще нет обмазки. Обмазка отличная. Просто экстра-класс обмазка. Я ездил, смотрел, как ее испытывали в вольтовой дуге... Тонкую такую пластинку вставляли прямо в пламя. Там черт знает сколько градусов, а ей хоть бы что! Краснеет только. И светится. Как уши...

— Какие уши? — серьезно спрашивает Агарков.

— Ну, знаете, — Виктор смущен, — когда некоторые люди краснеют, у них светятся уши...

— Вот не замечал, — с удивлением говорит Агарков,

— Да... Так бывает, — очень смущен Виктор. Он всегда очень смущается, когда ему приходится объяснять свое видение мира и расшифровывать образы и сравнения, рожденные этим видением. А потом он очень застенчив. Вот и теперь даже не знает, как дальше рассказывать про обмазку...

— Сколько же она его там гоняет, — сочувственно говорит Агарков, взглянув вверх на люк «Марса».

Нина и Андрей сидят в тех же креслах. Откинулись на спинки и повернулись друг к другу.

— Теперь мне ясно, — говорит Андрей, — почему в древнем Египте покровителем женщин был бог Бес.

Нина хохочет.

— Ну, признайтесь, что вы это сейчас сочинили...

— Спорим. Я приглашаю вас в воскресенье в музей...

— У вас в вашем городке, наверное, все девушки уже отлично знакомы с религией древнего Египта...

— Послушайте, — вдруг очень серьезно, тихо и спокойно говорит Раздолин. — Я устал от острот. Не надо острить, хорошо?

— Хорошо, — растерянно соглашается Нина.

— И давайте пойдем в музей не в воскресенье, а сегодня.

— Но сегодня будет поздно, — робко возражает она, — он закроется...

— А может быть, и не закроется, — совершенно серьезно говорит Раздолин...

Виктор Бойко поднимается по трапу.

— Нина! Хватит на первый раз, пошли обедать...

## 7

Они ходили в столовую всегда вместе. Всегда садились слева, в ряд у окон. Всегда Кудесник, Редькин, Маевский и Ширшов сидели за одним столиком, а Бойко — за соседним, с Женькой Харитоновым из сектора Егорова: они вместе учились в Ленинграде. А Нина — еще чуть поодаль, с Аней Григорьевой и девушками-расчетчицами.

Обед занимал полчаса, и полчаса оставалось на отдых. В хорошую погоду они шли обычно на крохотную зеленую полянку у бетонного бассейна, рядом с корпусом своей лаборатории. Весной, когда земля подсыхала, здесь устанавливали стол для пинг-понга. Но сейчас еще рано: сыро еще. Сейчас на краю полянки стоит только бульварная скамейка, неизвестно как тут появившаяся...

На скамейке тесно. С одного ее конца сидит Нина. Рядом — Андрей Раздолин что-то рассказывает ей и чертит щепкой на сырой черной земле. Дальше откинулся на спинку Виктор Бойко, — кажется, что он спит, глаза закрыты, во всяком случае. Но он не спит, просто думает о своем. Он чувствует, что промочил ноги, но уходить не хочется. «Надо купить полуботинки, — думает он. — Или галоши. Да некогда всё... Но галоши как-то унижают человека. В галошах какой-то ты неуклюжий. Наверное, это пошло от чеховского человека в футляре... А вообще мы совсем не задумываемся над тем, как одежда влияет на нашу психику... Мода здесь ни при чем... Вот в кальсонах чувствуешь себя более голым, чем в трусах... А застежки «молнии» придают силу и бодрость... Это, конечно, очень субъективно, но человек в кожаной куртке — располагает к себе. Почему? Может быть, потому, что в фильмах о революции комиссары ходят в кожаных куртках... Хорошо бы посмотреть еще раз «Чапаева»... А ведь теоретически Чапаев мог бы дожить до спутников... Удивительно! Есть люди, которых очень трудно представить дряхлыми стариками. Царь Петр. Пушкин. Маяковский. И Чапаев. И наоборот: каким был молодой Кутузов? Или Менделеев без бороды. Какой же это Менделеев? Это не Менделеев...»

Рядом с Виктором — Борис Кудесник. Читает журнал. И, наконец, на другом конце скамейки бодливо нагнули головы над шахматной доской Юрка Маевский и Игорь Редькин. Сергей Ширшов, стоя за спинкой скамейки, наблюдает за игрой.

Маевский и Редькин играют 488-ю партию. Эти партии — традиция и предмет гордости всего сектора Бориса Кудесника. Есть и другие традиции. С квартальных премий, например, ходить в ресторан «Кавказский». Не пить, а главным образом есть. Сациви из кур, гурийская капуста, цыплята табака, филе на вертеле. Но это так, пустяк. А вот шахматные партии Маевского и Редькина — это серьезно. Этими партиями гордятся, как удивительному и недоступному другим секторам примеру долготерпенья, постоянства и принципиальности. Дело в том, что Маевский и Редькин играют хорошо. По второму разряду — это точно. А может быть, и по первому. Если не считать Судакова (что его считать? Он кандидат в мастера), они лучшие шахматисты во всей лаборатории.

Вся лаборатория, вернее, все игроки и болельщики (а это почти вся лаборатория) признают, что Маевский и Редькин играют «на равных». Не признают это только сами Маевский и Редькин.

Редькин неоднократно публично заявлял, что Юрка — «слабак». Он категорически отвергал все попытки приравнять его шахматный талант «трусливым эндшпилям» Маевского. Редькин считал себя изобретателем новой системы защиты, которую по аналогии со староиндийской называл новосоветской. Маевский спорил редко, но своим чрезвычайно солидным поведением за шахматной доской и той легкой презрительной улыбкой, с которой он выслушивал комментарии о «трусливом эндшпиле», он давал понять, что для него вопрос о первенстве давно уже не является дискуссионным. Эта спокойная и молчаливая уверенность бесила Редькина. Стоило ему выиграть, как начинался «звон». Через десять минут вся лаборатория знала, что «Игорек приложил Юрку». Он искрился. Все существо его в эти минуты было пронизано пузырьками радости, как бокал шампанского.

Когда выигрывал Маевский, он медленно, жестом восточного владыки, смахивал фигуры с доски и говорил громко и назидательно: «Что и требовалось доказать!» Несколько раз уже для решения вопроса о первенстве играли они между собой турниры. И обычные, любительские, и с часами, и пятиминутные «блицы», когда упавший флажок приравнивался мату. Успех был переменный. Казалось, что вопрос о первенстве навсегда останется открытым. Наверное, так бы оно и было, если бы однажды, проиграв очередной блиц турнир, Редькин не сказал бы Маевскому:

— Если ты честный человек, то ты примешь мой вызов. Все эти турниры — стихия, «сегодня ты, а завтра я»... Короче: «ловите миг удачи...» Так дело не пойдет. Нужна наука. В главные арбитры соревнований приглашаем старика Гаусса. Сыграем тысячу партий. Построим графики, проанализируем и решим, а?

Маевский принял вызов. Так в седьмой лаборатории началось соревнование, невиданное в истории мировой шахматной культуры: турнир из 1000 партий. Поначалу участники турнира взялись за дело горячо. В первые два месяца было сыграно сто партий. Двадцать семь выиграл Маевский, двадцать одну — Редькин, пятьдесят две закончились вничью. Параметры этих ста партий: общий счет, количество ходов, время на обдумывание в каждой партии и перевес в качестве (по специальной десятибалльной системе) — запрограммировали и пустили в электронную цифровую машину. Машина делала миллион операций в секунду. Для нее это была не задача, а легкая разминка ячеек памяти.

Прогноз был поразительный: 48,891 процента на 51,109 процента в пользу Редькина. Маевский проверил программу машины, завизировал официальное коммюнике для болельщиков и предложил приступить к сто первой партии. Далее события развивались так. К сто сороковой партии Редькин сравнял счет. К двухсотой партии Маевский имел 2 лишних очка. Однако новый прогноз машины снова предсказывал победу Редькину: 51,606 процента на 48,394 процента. Сегодня, через полтора года после начала турнира, общий счет был 247  $\frac{1}{2}$  на 239  $\frac{1}{2}$  в пользу Юрия Маевского. Интерес к турниру среди шахматной общественности седьмой лаборатории уже заметно ослаб. Да, откровенно говоря, самим соревнующимся вся эта затея уже порядком надоела. Ни одному, ни другому ни разу не удалось оторваться от своего противника больше, чем на 12 очков. Все строго научные кривые, которые строились для наглядного доказательства превосходства одного соперника над другим, получались на редкость малоубедительными. Редькин пробовал перестраивать их в логарифмических координатах, но эффекта не добился... Однако нельзя было и помыслить отказаться от турнира. Тут была задета честь сектора. Весь институт знал, что «два чудака в седьмой лаборатории договорились сыграть 1000 партий». Отступить было некуда, и они играли. Играли после обеда по одной партии. Сегодня играли 488-ю партию. Редькин проигрывает. Вернее, Редькин уже проиграл. Ширшову это ясно. Но Редькин не сдается. Сопит и не сдается. Маевский отправил свою ладью в глубокий редькинский тыл и спросил вызывающе:

— Ну?

— Ветрено сегодня. Хотя и тепло, — сказал Редькин Ширшову, сгребая с доски фигуры.

...Что и требовалось доказать, — назидательно, с хорошо отработанной интонацией сказал Маевский в сто сороковой раз. Ширшов тронул Кудесника за плечо:

— Боря, давай сгоняем партию?

Кудесник, не отрываясь от журнала, буркнул:

— Не хочу. Отстаньте.

Маевский прокомментировал тем же назидательным тоном:

— Чтение — вот лучшее учение. Не мешайте человеку расширять кругозор.

— Товарищ Кудесник, — спросил Редькин, — а вам не кажется, что в результате беспрестанного расширения ваш кругозор уже приближается к полной сфере? Вас уже можно командировать в Москву для демонстрации на научных семинарах в институте глазных болезней имени Гельмгольца.

— Отстань.

— В вашем детском саду, Кудесник, не велась настоящая борьба за звание лучшего детсада нашего города. Поэтому вы и разговариваете таким тоном.

Борис понял, что читать все равно не дадут, и положил журнал на колени. Игорь подошел, перегнувшись в три погибели, прочел вслух название журнала:

— «Архитектура СССР».

Витька Бойко открыл глаза. Раздолин перестал чертить и оглянулся на Кудесника. Все смотрят на него с веселым удивлением, словно он пришел на работу в карнавальном костюме «Кот в сапогах». Борис виновато улыбнулся:

— Вы послушайте, что делается: в Душанбе построили двадцатипятиэтажный дом на стальных рессорах...

— В двенадцать часов по ночам, — сказал Редькин, — из гроба встает истопник. На нем серый походный сюртук и треугольная шляпа. Встает и включает гидросистему. Дом начинает покачиваться и баюкать жильцов. Наутро все просыпают начало служебных занятий...

— Замолчи, — лениво сказал Кудесник, — это же против землетрясений... Представляете, такая махина на рессорах! Ширшов смотрит на часы и говорит:

— Пошли.

Все встают: кончился обеденный перерыв.

## 8

Все шестеро сидят за своими столиками и работают. Кудесник читает толстую книгу, отпечатанную на машинке, — отчет. Рядом лежат еще две такие же пузатые книжки. Это отчеты самого Бориса. Их он тоже берет в библиотеке: нельзя же запомнить все цифры, даже если это «твои» цифры.

Сергей Ширшов внимательно рассматривает рыжие синьки (Бойко говорит, что их надо называть не синьки, а рыжки) и что-то помечает на листке бумаги остро отточенным карандашом.

Нина Кузнецова смотрит на ленту счетной машины. На ленте только цифры. Тысячи цифр собраны в шеренги, шеренги — в колонны, колонны — в дивизии цифр. Нина устроила смотр этой армии. Лента скользит в ее руках — она принимает парад. Один строй радует ее, другой тревожит. Она то чуть-чуть улыбается, то хмурится. (Когда хмурится, становится еще красивее. Такие красивые девчонки редко встречаются в технических вузах. Три года назад за ней «бегал» весь институт.)

Бойко занят делом самым примитивным: строит график. Он делает это автоматически и может думать и говорить совсем о другом. Он уже пробовал заговорить, но все были заняты, и разговор не получался.

Игорь Редькин что-то пишет, иногда стремглав хватает логарифмическую линейку, быстро и цепко наводит волосок визира и снова быстро пишет. Точно тем же занят и Юрий Маевский. Однако в его движениях нет никакой порывистости и суеты. Он считает с той неторопливой торжественностью, с какой обычно считают преподаватели теории машин и механизмов, уличая студентов в натяжках и ошибках. Маевский и Редькин производят впечатление самых сосредоточенных и работающих людей в этой комнате.

Но вот Маевский положил свою великолепную перламутровую авторучку на мраморную доску письменного прибора, потянулся и провозгласил:

— А ТДУ мы сегодня кончим! Как звери будем работать, а кончим!

— В Южной Америке есть один такой зверь, ленивец называется, — не оборачиваясь, бросил Редькин.

Витька Бойко засмеялся. Маевский действительно был ленив, но обладал удивительной способностью мобилизовать на короткий срок свой мозг, давая ему нагрузку, которую никакая другая голова выдержать не могла. Юрка создал даже собственную стройную теорию накопления мышления как одной из форм существования материи, объясняя ею то свое состояние, которое Бахрушин называл интеллектуальными прогулами.

На «ленивца» Маевский не обиделся. Он вообще ни на что не обижался. Никто не помнил, чтобы он когда-нибудь обижался. Подумав немного, он сказал ласково:

— А ты дурак.

— Дурак — понятие относительное, — на лету подхватил Редькин. — Знаешь, как говорят на Дерибасовской: кто в Жлобине умный, тот в Одессе еле-еле дурак. — И он показал на кончике мизинца, каким крохотным дураком в Одессе выглядит жлобинский умник. И тут же вдруг, бросив в сердцах линейку, Игорь завопил:

— Юра! Друг! Я жалкий клеветник. Ну какой же ты ленивец?! Совсем наоборот! Ты трудолюбив, как пчела! Через неделю мы пустим нашу ТДУ, через две недели положим

шефу на стол протоколы испытаний. Еще неделю Эс Те заставит шефа гонять ее на каких-нибудь им придуманных сумасшедших режимах, и, если она не погорит (а она не погорит!), снимут егоровскую ТДУ и поставят нашу! Мой кот тому свидетель! — И он подмигнул коту на стене.

Игорь Редькин был единственным человеком в комнате, который верил, что именно так, как он говорил, может случиться в действительности. Ослепленный своим неиссякаемым оптимизмом, он допускал, что за месяц до старта на корабль могут поставить новую, едва отработанную тормозную двигательную установку только потому, что он, Игорь Редькин, считает ее самой лучшей в мире.

— Хватит трепаться, — пробурчал Ширшов, вытащив из своего дюралевого колчана очередной карандаш. Все замолчали.

Тихо. Так проходит много минут.

— Борис, какая-то сплошная буза, — шепотом говорит Нина в спину Кудесника. — Тепловые потоки на шторах получились с обдувом больше, чем без обдува.

— Ерунда, — не оборачиваясь, убежденно говорит Борис. — Там элементарщина, все просто, как в законе Архимеда...

— Кстати, — втискивается в разговор Бойко, который явно томится молчанием за своим графиком, — кстати кто может сказать: Архимед — это имя или фамилия? Но до Архимеда сейчас никому нет дела, и вопрос Виктора повисает в воздухе.

— Все это верно, — говорит Нина, — и все-таки с обдувом больше...

Кудесник оставляет свои отчеты, подходит к Нине. Теперь они вдвоем склонились над лентой.

— Давай поглядим формулы, — говорит он.

Нина молча показывает.

— Программировала сама? — строго спрашивает Борис.

— Сама...

— Наверное, там и напутала.

Нина молча протягивает листок с уравнениями, расписанными по операциям. Борис долго смотрит и сопит.

— Я все делала, как ты говорил, — оправдывается Нина.

— «На основе ваших ценных указаний», — передразнивает ее Редькин, — Юра, — он обернулся к Маевскому, — какая могла бы получиться отличная диссертация: «История подхалимажа на Руси». А?

— Чертовщина какая-то, — наконец говорит Борис. — Надо пересчитать. И быстро. Сегодня можешь пересчитать?

— Конечно.

— Виктор, ты можешь вечером с Ниной пересчитать шторы? — спрашивает Кудесник у Бойко.

— Ладно, пересчитаем, — лениво отзывается Виктор. Он чертит график и думает о том, что у графика есть какое-то неуловимое сходство с профилем бразильского попугая ара. Ему хочется показать график ребятам и спросить, есть ли действительно такое сходство, проверить себя. Но он молчит, понимая, что ребятам сейчас не до бразильских попугаев.

## 9

Вечер застал их в огромном зале, где установлены счетные машины — серые тысячеглазые существа, то низко гудящие, то громко прищелкивающие, то как-то хлестко, с присвистом постукивающие. За окнами уже совсем темно. Нина, усталая, расстроенная путаницей со шторами, сидит у одной из машин. Они с Виктором только что отладили программу, и «задача пошла». Что получится, еще неясно. Виктор Бойко в конце зала курит, выпуская дым в приоткрытую дверь. Но дым почему-то не хочет уходить, лезет обратно в зал.

Внимание Виктора привлекают два пыльных, видно, очень давно уже висящих на стене плаката. «Вступайте в ряды ДОСААФ!» — написано на первом из них под тремя фигурами очень красивых молодых людей: девушки-санитарки, летчика и радиста. «Странное какое-то слово получилось: ДОСААФ, — думает Виктор, — Библейское... Авраам, Исаак и ДОСААФ...» На втором плакате — флаги, цветы и надпись: «Да здравствует наша любимая Родина!»

«А зачем он? — думает Виктор. — Для кого? Жил-был, не любил Родину, прочел плакат — полюбил. Так, что ли? Да здравствует Родина... Мурманск, где он родился и вырос... Белые ночи, крики кораблей в порту, эти сосенки за домом деда... Потом Ленинград... Какое это счастье, что на свете есть такой город... Москва, музыка курантов... А затем Сибирь... А у Нины свое. Разве можно все это забыть? Или можно не любить? Вот была Космодемьянская Зоя. Она, что же, плакат такой читала? Или те ребята, трактористы в Казахстане, которых он узнал, когда студентом ездил на уборку... Он никогда не забудет, как Мухтар тогда ночью спросил: «Сколько лет самому старому городу на свете?» Виктор не знал, но сказал: «Три тысячи лет». — «Вот тут мы построим город, который простоит тридцать тысяч лет! — сказал Мухтар. — Разве есть земля красивее?» Кругом без края стояла пшеница... Может быть, сейчас Мухтар уже строит его — город тридцати тысячелетий... А у них «Марс»... А зачем плакат? Ведь тогда надо выпустить плакаты: «Любите мать», «Не бейте стариков»...

Он бросил окурок в урну и пошел к Нине.

— Интересно, — спросил Виктор, — какие чувства ты испытывала, когда читала вон тот плакат?

Нина прищурилась.

— Откровенно говоря, я его первый раз вижу.

— Он висит года три.

— Серьезно? Я не замечала.

— В этом вся штука, — задумчиво сказал Виктор. — А ты хочешь, чтобы здравствовала наша любимая Родина?

— Отстань, я устала...

— Нет, ты отвечай: хочешь или нет?

— Ты что, спятил?

— Я серьезно спрашиваю: хочешь или нет?

— Хочу.

— А Кудесник, Юрка, Игорь, Сергей, Бах, — они хотят?

— Хотят.

— И без плаката хотят?

— И без плаката.

— А кто не хочет?

— Все хотят.

— А враги?

— Какие враги?

— Ну всякие... Империалисты, скажем. Они хотят?

— Не хотят.

— Правильно, Нинка! Вот их и надо агитировать, сволочей! Так зачем его тут повесили?

— Отстань... Значит, надо.

— Кому надо? Если никому из нас не надо, то кому же надо?

— Художникам надо рисовать плакаты, — нехотя, только чтобы отделаться от него, сказала Нина. Виктор помолчал, подумал и заключил:

— Тот, кто это рисовал, безусловно, не художник... Не художник, потому что он холодный человек. Впрочем, он, может быть, даже любит Родину. Но ему думать лень. И боязно: вдруг что не так! А тут он спокоен: у кого поднимется рука критиковать такой

плакат? Он холодно спекулирует высоким и дорогим. Да, он спекулянт... В двадцатых годах он спекулировал хлебом, в войну — дровами, продовольственными карточками, потом книгами, сейчас — словами. Он всегда спекулировал тем, чего всем нам не хватало. А сейчас, мне кажется, очень часто не хватает именно настоящих слов...

— Ну, ладно, давай поглядим, что она теперь насчитала. — Нина встала.

И они склонились над свежей лентой — ответом электронного математика. Электронному математику было легко: он ведь только отвечал на вопросы. А задавали их люди.

## 10

Чудесное прозрачное апрельское утро. Последнюю неделю они работали так много, что воскресенье явилось неожиданным маленьким чудом.

Утро Кудесника, как и полагалось воскресному утру Кудесника, началось с похода в детскую молочную кухню. Тетя Дуся, старушка, которую с великим трудом удалось ему отыскать, когда родился Мишка, в воскресенье уезжала «к племеннице», или по святым праздникам шла в церковь, или летом — просто в парк, где играл духовой оркестр, а иногда даже показывали бесплатно кино. Поэтому в воскресенье в кухню ходил он сам. Бутылочки с делениями через пять граммов ставил в маленькую корзиночку, плетенную из цветных стружек. Что-то было смешное и трогательное в этой корзиночке. Что-то от Красной шапочки и Серого волка.

Борис любил эти воскресные походы, потому что никуда не надо было торопиться, можно было посмотреть на город и людей, на все, что делается вокруг. В обычные дни он стремглав кидался в автобус, в котором он знал всех пассажиров в лицо. В обычные дни он не видел города. И вот сейчас он шел, не торопясь, с интересом оглядывая все, что видел. Вот лежит под «Москвичом» несчастный «частник». Вот в подворотне мальчишки играют в «расшибец». Отличная игра! Требуется меткости руки и глаза. И он ловит себя на мысли, что он, кандидат технических наук, с удовольствием бы сыграл в «расшибец». А тот дом на углу уже застеклили...

Борис разглядывает афиши. Открывались парки и танцзалы. Приехал дирижер из Чили и скрипач из Англии. Гастроли театра «Современник»: «Стряпуха». Постановка И.Кваши. Странная какая фамилия: И.Кваша... Волейбол: «Химик» — «Буревестник». «Прогулки на катерах — лучший отдых». Подписка на собрание сочинений М.Е.Салтыкова-Щедрина. «Левитин. Мотогонки по вертикальной стене». Конкурс цветов. «Обманутая мать» — новый египетский кинофильм. Вечер поэзии... Когда он читал афиши, настроение портилось. Весь этот пестрый, может быть, и не всегда такой интересный, как о нем рассказывали афиши, мир городских развлечений и увеселений уже давно катился мимо него. Он чувствовал, что ушел из этого мира, потерял с ним всякую связь. И не то чтобы он не смог пойти на этот вечер поэзии, например. Конечно, смог бы. Он ходил. Очень редко, но ходил. Но вот, когда он ходил, когда слушал стихи и оглядывал сидящих рядом людей, он чувствовал какую-то непонятную свою отчужденность, чувствовал, что это случайность: он в этом зале. Им всегда владело не осознанное до конца желание множить свои контакты с миром. Он любил новых людей. Он вообще от природы любил узнавать. Самой сильной чертой, определяющей его характер и поступки, была любознательность. Наверное, меньше, чем кто-либо из тех шести человек, которые сидели в одной из комнат седьмой лаборатории, годился он в начальники, потому что любознательность его была глубоко индивидуальна и наибольших успехов он мог бы достичь именно как исследователь, а не как руководитель исследователей. Просто в этом никто не разобрался.

Он защитил диссертацию раньше других, и ему «дали сектор».

Вот эта жажда нового и мучила его, когда он читал афиши. Мучила не потому даже, что он не мог утолить ее сегодня, а потому, что (он чувствовал это) он не утолит ее и завтра. Едва он выходил из проходной, как подступали к нему со всех сторон бесчисленные



маленькие заботы. Они облепляли его, как рыжие лесные муравьи, забирались под одежду, жалили, и не было никакой возможности ни убежать, ни стряхнуть их с себя. То матери требовалось какое-то лекарство, а его не было ни в одной аптеке, то в квартире начинался ремонт, долгий страшный месячник какой-то пещерной жизни и средневекового произвола прорабов. Потом надо было отдать в чистку плащ, и это пустяковое дело тоже выросло в проблему, потому что вещи в чистку принимали почему-то по утрам, когда они с женой уезжали на работу. Потом надо было начинать думать о даче для Мишки, начинать «подыскивать». И еще, и еще, и еще. Как в сказке, когда на месте отрубленной головы Змея-Горыныча сразу выростала новая голова, не было конца этим заботам. Остро чувствовал он их бесконечность, и от этого иногда ему хотелось послать все к черту, уехать очень далеко, заняться чем-нибудь совсем другим. Жить где-нибудь в деревне, работать в колхозе. Или носиться, как вот этот самый Левитин, по стене на мотоцикле, путешествовать с этой стеной по всему Союзу...

Но в свои тридцать два года слишком глубоко уже пустил он корни в эту жизнь. Слишком крепко был спутан по рукам и ногам тонкой цепочкой, каждое звено которой было маленьким «надо», чтобы изменить что-нибудь... И еще были ребята: Игорь, Витька, Сергей. И была работа, которую он ни за какие деньги и блага не мог бы бросить. Он прочел где-то, что Эдисон неделями не выходил из лаборатории... И он очень понимал Эдисона и завидовал ему. Завидовал работоспособности Бахрушина и извечному кипению Эс Те. Он любил и умел работать. Это чувствовал каждый, кто был рядом с ним. Но сколько бы ни сделал он, он хотел сделать больше. Он хотел большего, чем мог физически. Он не успевал жить... Может быть, поэтому афиши портили ему настроение...

Кудесник вернулся домой в веселом перезвоне маленьких бутылочек, а на кухне его уже поджидал участковый оперуполномоченный Гвоздев.

— Ну как? — спросил Гвоздев с надеждой.

— Да пока никак, — ответил Кудесник.

— Та-ак, — с грустной раздумчивостью сказал Гвоздев и потянул с бока планшетку, в которой лежали чистые бланки протоколов.

Дело в том, что у тети Дуси кончилась временная прописка. Оставить Мишку, кроме как с тетей Дусей, было не с кем. Все об этом знали: и в домоуправлении, и в милиции. Знали, понимали, что тетю Дусю прописать надо. Знали, понимали, но не прописывали и регулярно штрафовали Кудесника во исполнение какого-то параграфа, который, по словам Гвоздева, «нарушишь — костей не соберешь»...

— Та-ак, — сочувственно повторил оперуполномоченный и добавил: — Ну, неси чернила...

Начался воскресный день у Бориса Кудесника.

## 11

А в это время Виктор Бойко сидел на скамейке в парке Победы, думая о своем: скворечник — что это, просто удобство или необходимость для скворцов? И вообще, хватает ли им скворечников? И что делают те, которым не хватает? Виктор задавал себе эти вопросы не только потому, что обладал редкой способностью выбирать необычную точку, откуда он смотрел на мир, что и позволяло ему видеть по-новому давно известное, но и подсознательно, потому что весенние жилищные заботы скворцов были ему близки и понятны. Дело в том, что Виктор снимал комнату, маленькую, сыроватую, но сравнительно дешевую. Он очень не любил ее. Приходил туда только ночевать. Конечно, можно было найти что-нибудь получше, да неохота было искать. «Четыре года терпел, теперь уж дотерплю» — таков был его смиренный жилищный девиз. За эти четыре года пять раз, подавляя в себе необъяснимое чувство стыда, которое охватывало его всегда, когда нужно «просить за себя», ходил он к профоргу лаборатории Сеницыну. Ходил просить комнату. Сеницын, толстенький, с маленькими блестящими глазками, похожий на морскую свинку,

завидев его, всякий раз сразу начинал суетиться, перекладывать на столе с места на место бумаги, хватался за телефонную трубку, мелко дергал носом, отчего еще больше становился похож на морскую свинку. Потом Синицын принимался обещать. Нет, не обещать, а «заверять».

— Заверяю тебя, — говорит он, — ты у нас в первой десятке. И не сомневайся... Я тебя заверяю...

Люди опытные советовали Виктору жениться, а женившись, поторапливаться с наследниками. Молодожёнам действительно жилье давали быстро, а с детьми и того быстрее. Виктор отнюдь не был женоненавистником, и принципиально у него не было никаких возражений против женитьбы. Но не мог же он жениться ради квартиры! А не «ради» не получалось. Каждый раз он, как говорил Редькин, «сходил с дистанции».

Однажды, когда они после защиты Кудесника «гульнули» в ресторане, Виктор, обняв Редькина, сказал:

— Я убежден, существует девушка только моя. Для меня рожденная... Как Джульетта для Ромео... Где? Не знаю... Может быть, на Таити... А может, в Исландии... Конечно, общность языка, политических взглядов, морали говорит в пользу СССР, но понимаешь ли ты, что духовное сродство определяется...

— Понимаю, — перебил его Игорь. — Понимаю. Если бы Ромео был таким слюнтяем, Тибальд заколол бы его, как поросенка...

Короче, Игорь, как говорится, наплевал ему в душу. От бесед на подобные темы Виктор с тех пор уклонялся. Почему-то он вспомнил об этом разговоре сейчас, сидя на скамейке в парке.

Тут славно, уже пахнет немного летом. Пахнет дождем, землей, молодой горькой листвой. Оказывается, уже появились листья... Червяк, толстый, розовый, вылез греться на солнце... Пробили черную землю первые яркие и острые листья травы... Отовсюду лезет, прет жизнь. Бесстыдно, жадно, весело... «Наверное, Рубенс любил это время», — как всегда неожиданно для самого себя, подумал Витька и, запрокинув голову, подставил солнцу лицо.

Так отдыхал Виктор Бойко.

## 12

Совсем недалеко от парка Победы, на одной из улиц, по которой редко ездят машины и которая граничит с другой улицей, по которой они ездят слишком часто, в большой, с тонким вкусом обставленной квартире профессора Маевского, известного на всю страну хирурга, растянувшись на широкой тахте, курил его сын Юрий. Он откровенно и беззастенчиво наслаждался праздностью, потому что знал, что последние дни работал много и с толком. И сейчас он не испытывал ни малейших угрызений совести от того, что после вкусного, сытного, а главное, неторопливого завтрака он снова лежал на тахте, не спеша раздумывая над тем, что делать дальше.

— Нюра! «Спутник» принесли? — крикнул он в дверь. Домработница Нюра появилась бесшумно, как джин в сказке.

— Нету «Спутника». «Маяк» вот, газеты и «Крокодил».

— Не надо «Маяка»...

Нюра исчезла из рамы дверей со скоростью шторок фотоаппарата.

— Впрочем, давай «Маяк»! — снова крикнул он.

Как он и ожидал, «Маяк» был довольно скучный. Длинный рассказ про любовь в зверосовхозе. Запоздалая итоговая статья по хоккею. Заметка о том, как один армянский умелец вырезал из кукурузного зерна памятник Аветику Исаакяну.

В комнату вошла Аня, Юрина жена. Красивая, длинноногая.

— Так и будешь лежать?

— А что? Хорошо поработали — культурно отдыхаем.

— Звонил Славка. Они взяли нам билеты на сегодня в филармонию. Какой-то чилийский дирижер, забыла фамилию. Равель, Прокофьев...

— Очень хорошо! — искренне обрадовался Юрка. Обрадовался потому, что теперь не надо было ничего придумывать самому.

— Это вечером, а до вечера?

— Ну, я не знаю... Он схватил ее за руку, притянул к себе, обнял и поцеловал за ухом. Он любил целовать ее за ухом и в шею, чувствуя при этом удивительно приятный запах ее волос.

— Юрка, ты тюлень, — сказала она ласково.

— Да, я тюлень... Поцелуй меня...

— Юрка, давай не разлагаться, вставай.

— Ну хорошо, допустим, я встану. А что дальше? Давай сначала придумаем, зачем мне вставать.

И он снова поцеловал ее.

Таким было утро Юрия Маевского.

### 13

В отличие от Юрия Маевского Сергей Ширшов не был женат. Он был жених. Жених... Удивительно глупое слово. Да никто о себе так и не скажет: «Я жених». Смешно, какой он, к черту жених? А кто же он? Ну кто же? Как объяснить... Все намного сложнее... Все ужасно сложно...

Как-то Редькин сказал: «Уметь жить — это значит уметь делать из больших проблем маленькие». Редькину что? Сболтнул — и все. И забыл. А Сергей потом подумал и решил, что если Игорь прав, то жить он не умеет, потому что у него как раз наоборот: он делает из маленьких проблем большие.

Сергей Ширшов обладал прескверным характером. Он был подозрителен, вздорен, мнителен и мелочен. И странное дело, на работе все эти скверности сразу как-то улетучивались, а дома... Вернее, даже не дома, а главным образом с Алкой — расцветали пышным цветом. По существу, все их взаимоотношения сводились к одной бесконечной и беспричинной ссоре, раздробленной на части короткими часами примирений. Вот и этим утром у касс бассейна «Водник» разговор шел у них глупый, вздорный, и Сергей чувствовал это, но остановиться не мог...

— Бери, бери, — с готовностью согласилась Алла.

— Ты говоришь это так, будто я тебя веду на эшафот...

— Что ты хочешь?

— Я не хочу одолжений.

— При чем тут одолжения? Ты сам сказал, что это интересно. Очень хорошо, пойдем посмотрим. Ты хочешь, чтобы я плясала от восторга?

— Не нужны мне твои пляски. Но если не хочешь идти, не ходи. Я могу один...

Обычно после **такого** она говорила: «Иди! Иди куда хочешь и оставь меня в покое!» Но она не видела его целую неделю, если не считать среды, когда он забежал уже в одиннадцатом часу, и она ответила иначе:

— Сережа! Я хочу, понимаешь? Я хочу. Пойдем на соревнования, а если тебе расхотелось, не пойдем на соревнования...

— Ну, так я беру билеты? — спросил Сергей в четвертый раз...

Тонкая, в черном купальнике девушка подошла к краю трамплина. Чуть потопталась. Чуть-чуть, одними пальцами. Так метатели чуть-чуть перебирают рукой копые перед замахом. И вдруг прыгнула! С гордой веселой силой бросила себя вверх. Этот полет был недолгим: ведь она все-таки падала, но это был полет! Она управляла им, неуловимо и тонко соразмеряя пластику своих движений с ускорением этого свободного, бесстрашного падения.

Стройное тело вспоролу зеленую воду без брызг, трибуны одобрительно загудели. Под стеклянными сводами бассейна сухо захохотали аплодисменты.

Сергей покосился на Аллу. Она очень нравилась ему, и поэтому стало грустно. Алла достала из сумочки «Мишку» (Сергей купил в буфете) и стала есть. А когда съела, стала свертывать из фантика поддельную конфету-пустышку. Сергей краем глаза следил за ней и задумал про себя, что, если она отдаст конфету ему, будет плохо. Пустышка олицетворяла обман. Он любил так задумывать и расстраивался от этих своих задумок даже больше, чем от реальных неприятностей.

Наконец все было готово. Она положила конфету на колени, любуясь своей работой, потом посмотрела на Сергея и спросила шепотом:

— Дать тебе?

Сергей молчал.

— Дать?

Сергей молчал: он хотел, чтобы у судьбы были равные шансы. Скажи он «да» или «нет», все было бы уже нечестно.

Зажав конфету в руке, она отвернулась к трамплину. Сергей очень боялся, что она засунет конфету потихоньку ему в карман, сидел настороженный, ждал, что будет...

Уже поздно вечером, когда он провожал Аллу домой и совсем забыл про «поддельную» конфету, она, пошарив в сумочке, бросила в урну яркий синенький шарик.

— Ты конфету бросила, да? — спросил он зловеще.

А когда она сказала, что бросила действительно конфету, Сергей почувствовал сразу такую легкость, радость и нежность, так захотелось сказать ей что-то очень ласковое. Но он не знал, что сказать, и не сказал...

Но это было уже поздно вечером, а утром Сергей Ширшов стоял у касс бассейна «Водник».

## 14

Игорь Редькин в воскресенье работал. Вернее, еще не работал, но собирался. На утро у него была запланирована статья для журнала «Знание — сила», уже не первая статья, которую он посылал в научно-популярные журналы. И сам про себя и в присутствии других он называл эту свою работу халтурой, убежденный, что пишет **только** ради денег. А всякую работу, которую делали только ради денег, вне зависимости от качества ее исполнения, он считал халтурой.

Писал он действительно и ради денег. Отдавая матери зарплату и премии, которые платили, когда они «проворачивали» что-нибудь досрочно, Игорь постоянно сидел без денег и перед получкой регулярно «стрелял» у Маевского десятку. Но он писал не только ради денег. Он писал потому, что любил писать. Ему это нравилось. Увлечение журналистикой он считал слабостью, недостойной человека, занимающегося каким-либо серьезным делом. Он не знал, что любил писать. Не знал, что это ему нравилось. И эту статью о скачках уплотнения он тоже называл халтурой, хотя относился к ней необыкновенно добросовестно, давно обдумывал ее, набросал неделю назад план и даже придумал первую, как ему казалось, интригующую строчку: «Самолет не подчинялся пилоту».

Он совсем было засел за работу, но подошел к окну и вот уже стоял минут десять, глядя на залитую солнцем улицу. Там, на улице, было, кажется, очень весело. Прямо напротив их окон, где находился мебельный магазин, толпился народ, суетились, размахивая чеками, продавцы в синих халатах, мрачно бродили «леваки»-шоферы и, стоя поодаль, выглядывали добычу грузчики. Подъехал грузовик, и на него медленно и нежно грузили шкаф. В большом зеркале шкафа отражался мир. Мир радостно прыгал: облака, окна домов, пешеходы, автомобили...

Но статью надо писать. Он обещал. И писать надо сейчас, потому что вечером придут Жорка и Вася — старые, еще со школы, друзья. И они выпьют. Они давно все сговаривались

выпить. Просто так, «без затей», сесть, выпить, потрепаться. Но вот задача: надо ли звонить Ирочке? Жорка, Вася и Ирочка... Как-то вместе они «не смотрятся». Ребята будут сидеть зажатые. Будут стараться острить. Жорка опять начнет рассказывать, теперь уже для Ирочки, как у пика Семи сестер они попали в буран... Может, позвонить все-таки и наплевать на Жорку? Нет, не позовет он Ирочку... А ведь он знает: обязательно будет минута, когда ему захочется убежать и от Жорки и от Васи, когда он будет жалеть, что не позвонил Ирочке... А может, сейчас позвонить? Но как тогда быть со статьей?

Так в муках сомнений начался день Игоря Редькина.

## 15

Утро Нины Кузнецовой — утро ожидания. Она сходила в парикмахерскую, потом в магазин, потом посмотрела в газету, потом, поджав ноги, села с книжкой в уголке дивана и читала, но, думая о своем, ничего не понимала из прочитанного, просто рассматривала глазами одну строчку за другой — так читают на сцене актеры. Книгу взяла она, чтобы убить время, чтобы вечер скорее пришел. Вечером — Раздолин...

Они куда-то шли, куда-то ехали. Куда? А кто его знает, куда... Ужинали в каком-то маленьком ресторанчике на набережной... Им очень долго ничего не подавали... Впрочем, и другим тоже. Другие возмущались, а они нет. Даже если бы о них вовсе забыли, они бы не возмущались... Потом опять куда-то ехали. Троллейбус, подвывая, катился от фонаря к фонарю. Нина смотрела в окно на темную улицу. Желтые квадраты света, падающего из окон троллейбуса, неслись по асфальту, прямо по лужам. Потом откуда-то сзади набегала большая серая тень самого троллейбуса, обгоняла его, неслась вперед, светлея и размываясь... А следом уже возникала другая, потом еще, еще... Почему раньше она не видела всего этого?

Какой-то маленький скверик. Круглая клумба. В ней белый пионер с отбитой рукой. Они сидят на скамейке. Он обнял, прижал ее к себе.

— У тебя уши замерзли, — говорит она и смеется. — Красные уши... И она трогает его ухо пальцем. — А помнишь, Арамис щипал себя за мочки ушей, чтобы они розовели?... Это нравилось женщинам... Раздолин, а может, и ты щиплешь?

— Тебе нравится Арамис? — спросил он.

— Он молодец. А тебе?

— И мне... Но Атос больше...

— Атос — герой... Всем мальчишкам нравится Атос...

Он хотел поцеловать ее, но мальчишки, как раз именно те мальчишки, которым нравится Атос, ворвались в скверик, как банда басмачей.

Она легко отстранилась, и он без обиды понял, что целовать сейчас нельзя.

— Это они, наверное, отбили пионеру руку, — шепотом сказала она.

— Они...

Потом они стояли в маленькой беседке во дворе ее дома. В маленькой детской беседке. Качели, оставленные детьми, были печально неподвижны. Он целовал ее долго, нежно прижав к себе. Он говорил ей что-то, а она не слушала слов, не нужны были слова. Она поднималась на цыпочки и целовала его в губы, долго и так крепко, что он чувствовал ее зубы...

Так в маленьком дворике, на который со всех сторон во все глаза смотрели сотни оранжевых окон, в эту ночь рождалось редкое и нежное чудо — любовь.

## 16

Борис Кудесник у стола. Горит настольная лампа. Несколько книг. На обложке одной — золотом: «Теория плазмы». Борис листает. Две женские руки ложатся ему на плечи:

— Закрой свет газеткой, Мишка ворочается...

Борис ставит газету у лампы, щекой проводит по руке. И руки слетают с плеч...

Виктор Бойко идет домой темным переулком. У булочной выгружают свежий хлеб, и Виктор останавливается, вдыхая вкусный, теплый и добрый запах. Лотки быстро исчезают в окошке, один за одним...

— Можно купить один батон? — спрашивает Виктор.

— Или проголодался? — с иронией говорит грузчик.

— Нет... Но пахнет хорошо...

— Духи купи себе и нюхай, — уже зло говорит грузчик.

— Я заплачу...

— Не видишь, что ли, закрыта булочная.

Виктор не уходит, молча стоит и нюхает хлеб...

Большой зал филармонии наполнила нарастающая, бьющаяся в едином четком ритме дробь барабана. Болеро Равеля. Глаза Маевского закрыты, ресницы вздрагивают и волнуются, а барабан все бьет и бьет... Лицо у Маевского напряженное. Он совсем не похож на того Маевского, которого знают все.

Сергей Ширшов сидит в майке и в трусах на постели. Совсем темно. Встает. Босиком выходит в темный коридор и приоткрывает другую дверь. Тоже темно.

— Батя, ты спишь? — шепотом спрашивает он.

— Что тебе? — отвечает женский голос.

— Ма, я женюсь! — выпаливает Сергей.

— До утра потерпеть не мог?

— Нет, я правда женюсь!

— Ты никак выпил? — с тревогой спрашивает мать...

Три рюмки сошлись, чокнулись.

— И все-таки, что значит для тебя заниматься наукой? — с пьяной настойчивостью спрашивает Игоря Редькина Жорка, старый школьный друг.

— Для меня? Ну, как сказать... — Игорь вертит в пальцах рюмку. — Удовлетворять собственное любопытство за счет государства!

И махнул водку в рот.

— Не пижонь, — строго говорит Жорка. — Ты понимаешь, о чем я говорю. Зачем нам Луна, Венера, Марс? На кой хрен?

— Кому это «нам»? — строго спрашивает Игорь.

— Мне, тебе, Васе, всем.

— Ты упрощаешь, — вяло говорит Вася. — Пойми...

— Ничего он не упрощает, — резко перебивает Игорь. — Он мещанин. Ему нужна конура, подбитая плюшем, куриный бульон и лакированные штиблеты за пять рублей!

— А почему из-за каких-то лунников я должен платить за штиблеты тридцать рублей?!

— Считаю, что разницу ты заплатил за билет в эпоху! Плацкартный билет!

— Только без демагогии...

— Да замолчи! Сотни лет люди смотрели в небо, мечтали... Луноград — это такая же гордость наша, как твой Рублев, как Василий Блаженный, как «Аврора»... Давай загоним американцам Третьяковку, а? Ведь купят! И хорошие деньги заплатят! И почему это мы не обменяли в войну Рублева за свиную тушенку? А? Ужасно, что это говоришь именно ты! Ужасно, ужасно... Кстати, почему ты пишешь картины, а не разводишь коров? Штиблеты делают из коров...

— Отлично! — крикнул Жорка. — Мы договорились до отрицания искусства!

Игорь словно и не слышал этих слов.

— У Толстого в «Аэлите» летят на Марс в двадцатых годах, — говорит он задумчиво. — Помните, Гусев ходил в солдатских обмотках. А сейчас наша станция работает на Луне.

Там живут люди. Подумай: люди живут на Луне. Нет, ты, пожалуйста, еще раз вдумайся в смысл этих слов: люди живут на Луне. На Луне! Вася, когда я думаю об этом, у меня комок в горле, плакать хочется... Это грандиозно, Васька! Неужели он не понимает?

— Кончайте, ребята, — устало говорит Вася. — Давай по последней...

И он начал разливать остатки водки, примериваясь, чтобы всем досталось поровну...

А в темном — одна грязная лампочка — подъезде Раздолин, взяв в ладони прекрасное светлое лицо Нины, почти кричит:

— Я люблю тебя, понимаешь?! Я тебя люблю! Люблю! Люблю!

## 17

Маленький, уже знакомый нам кабинет Главного Конструктора. Ему предстоит разговор с космонавтами. Звонили из Москвы, из штаба ВВС, просили все им объяснить.

Говоря откровенно, Главному было в общем-то все равно, кто полетит на Марс. Он полностью доверял людям, занятым хлопотливым делом подготовки космонавтов, и понимал, что из сотен парней, крепких душой и телом, можно отобрать несколько лучших. А потом — лучших из лучших. Такой выбор был уже сделан, и он согласен с ним. Вся тройка ему нравилась. Нравилось ему и то, что Агарков, Воронцов и Раздолин были очень разными, непохожими друг на друга. Вот они сидят перед ним, все трое, выбритые, подтянутые, очень молодые и уже поэтому красивые. Сидят и не знают, что лететь придется только двоим. Кому? У него нет права выбора. Но он хотел бы сделать такой выбор для себя. Не только для того, чтобы при случае «иметь свою точку зрения», но просто для того, чтобы проверить свой опыт и свое умение разбираться в людях. Он считал, что обладает этим умением. (Кстати, он им действительно обладал.)

Вот Воронцов. Он самый старший. Молчаливый. Видимо, упрямый. Широкий в плечах, мускулист, но легок, пластичен. Волгарь, ульяновский. Хорошее русское лицо. У носа в скулах пробиваются веснушки. А нос чуть картошкой, но чуть-чуть. Лохматые брови, глаза с рыжцей. Блондин? Да вроде нет. Среднерусской светлой масти...

Вот Раздолин — блондин. Голубоглаз, румян. Рядом с Воронцовым он кажется тонким, даже хрупким и обманчиво высоким. Совсем мальчик. Но молодецват, глядит орлом. Голова работает быстро, за словом в карман не полезет...

Агарков всех крупнее. Смуглолиц. Красивые волосы закидывает назад. Черные глаза с южной поволокой. Он из Новороссийска. Рыбак в пятом колене. Нетороплив, рассудителен, добродушен. Говорят, очень силен физически...

Вот они сидят: тройка лучших из лучших. А лететь двоим. Как сказать?

— Ну, как идут дела? — с улыбкой спрашивает Главный. — Как корабль? Давайте, критикуйте, лететь вам, не мне.

— Отличная машина! — радостно сообщает Раздолин.

— Корабль хороший, — говорит Воронцов.

— Мне не нравится пенопласт, — помолчав добавляет Агарков.

— Почему? — Главный удивленно взглянул поверх очков.

— Кругом белый пенопласт. Я понимаю, нужны мягкие стенки, чтобы в невесомости не стукнуться... Ну и при посадках... Но почему белый? Как в больнице...

— Брось придирается, — перебивает Раздолин, — какое это имеет значение...

— Пусть, пусть придирается. — Семен Трофимович кивает головой. — Не день, не два лететь — месяцы. Белый — действительно цвет суховатый. Надо сделать что-нибудь этакое, домашнее...

И он записывает каракулями на перекидном календаре: «Пенопласт!!»

— Степан Трофимович, — говорит Воронцов, — у иллюминатора поставили откидывающийся кронштейн для киноаппарата. Это удобно. Но аппарат крепится к нему намертво. Там бы шаровой шарнир с зажимом...

— Хорошо, — говорит Главный и опять помечает в календаре.

— У меня все, — официально, по-военному говорит Воронцов.

— Та-ак. — Главный оглядывает их. Как сказать? — У меня неприятные для вас новости, товарищи...

Все трое сразу подумали об одном.

«Не полетим!» — Раздолин.

«Старт откладывается» — Воронцов.

«Зря готовились» — Агарков.

Степан Трофимович замолчал, и все трое тоже молчат, ждут.

— Астрономы не дают погоды. В июле и последующие месяцы возможно резкое увеличение активности Солнца. Та биозащита, которая стоит на «Марсе», может не справиться... Это все, правда, предположения. Вполне возможно, что ничего и не будет, предсказать тут трудно... Возможно, что доза радиации на борту превысит допустимую. Не намного, но превысит. Для жизни опасности нет, для здоровья — может быть, и есть. Вы должны это знать. Ваш полет — не пустое задание летчика. Вы имеете право отказаться...

Трое молчат.

— Я готов лететь, — наконец, твердо говорит Раздолин.

— Степан Трофимович, — медленно начал Агарков, не глядя на Главного, — вот вы сами говорите: может, будет, может, нет, может, дождик, может, снег. А лететь надо. Марс не Луна. Если бы можно было отложить полет на несколько месяцев, ну переждать, что ли, тогда другое дело. Что ж, теперь следующего противостояния дожидаться? Риск есть риск. А где его нету? Хамсу ловить — и то риск. Как, ребята? — он обернулся к Воронцову, — Я думаю, летим. А если...

— Я не полечу, — перебивает Анатолия Воронцов.

— Как не полетишь? — не с удивлением, а скорее со страхом спрашивает Раздолин.

— А вот так не полечу. — Рыжие глаза Воронцова уперлись в зрачки Андрея.

— Ты боишься? — Раздолин напрягся как струна.

Главный под очками сощурил глаза. Вертит в руках толстый красный карандаш.

— Боюсь... Помню, как пустили слух, что Титов заболел лучевой. Он лежал с ангиной и не мог приехать на какое-то заседание, а старухи в очередях жалели Германа. Я хорошо помню, что тогда говорили... Но это была глупость. А тут?! Кто летит? Раздолин? Воронцов? Ерунда! На Марс летит Советский Союз! И если что случится, то не о нас же речь в конце концов... Да что говорить, — Воронцов махнул рукой, — все ясно... Степан Трофимыч, — он обернулся к Главному, — надо что-то сделать... Я, конечно, не знаю, возможно ли это, но...

Главный щурится, играет карандашом.

— Мы усиливаем экраны биозащиты, — говорит он. — Усиливаем за счет веса полезной нагрузки корабля. Иного выхода, учитывая сроки, нет. Поэтому полетят не трое, а двое...

— Три молодых, красивых, очень серьезных лица. «Воронцов полетит обязательно», — думает Главный.

## 18

Прозрачное зябкое утро. К проходной идут люди. Если взглянуть сверху, увидишь, как пролегли черные нитки пешеходов, узелком перевязанные в маленьком домике проходной.

Подошел автобус, красненький жучок, и посыпались из него люди. И из передней двери и из задней, над которой висит пугающая своей безысходностью табличка: «Нет выхода».

Ближе к забору, справа от проходной, выстраивается шеренга автомобилей. Не так много. Десятка два. В основном «Москвичи». Вот медленно и аккуратно встает в



автомобильный строй «Волга» Бахрушина. Бахрушин легко выпрыгивает из машины. В этот момент с ревом и ядовитым синим дымом рядом с «Волгой» тормозит мотоцикл Редькина.

— Здравствуйте, Виктор Борисович, — весело говорит Игорь, снимая очки.

— Добрый день. — Бахрушин запирает дверцу «Волги». — У вас вид отважного гонщика.

— Я не отважный, я несчастный. Мне, чтоб добраться, нужно делать четыре пересадки. Я ведь живу у черта на рогах — Живописная улица.

— Это где же? — с интересом спрашивает Бахрушин.

— От химкомбината на автобусе номер сто до конца. Это уже близко от советско-афганской границы...

Они подстраиваются в одну из коротких, быстродвигающихся очередей, вращающих турникеты проходной, словно речной поток лопатки гидротурбины.

За проходной начатый разговор продолжается.

— А почему бы вам не обменяться поближе к институту? — говорит Бахрушин. — Многие, я слышал, меняются...

— Да, меняются, я знаю... Но мамина школа рядом с нашим домом. Тогда ей придется ездить...

— Она учительница?

— Да, русского языка.

— Но ведь и тут тоже много школ.

— Она работает в школе-интернате для слепых детей. Она не уйдет.

— А ваш отец?

— Его убили. Десятого мая... Есть такой городок в Чехословакии — Ческа Липа...

Помолчали.

«Как мало мы знаем друг о друге, — думает Бахрушин. — Редькин работает у меня четыре года, и я всегда думал почему-то, что у него большая, шумная такая семья».

— А вы один у матери? — спросил он.

— Да нет, — виновато улыбнулся Игорь, — еще сестра и брат. Сестра замужем, уехала в Караганду, а брат — технолог на химкомбинате.

«Некогда просто поговорить с человеком, — думает Бахрушин. — Это ужасно, что мы говорим только о делах».

И он спросил:

— Сегодня будете пускать ТДУ?

— Да, хотим попробовать.

— Я смотрел ваши цифры, не торопитесь. И осторожно...

— Да она смирная...

— Позвоните, когда будете пускать.

— Хорошо.

И они разошлись. Бахрушин — к себе в кабинет, Редькин — на стенд.

## 19

Испытательный стенд находился в двухэтажном домике и состоял из бетонированного бокса, где устанавливали двигатель, и комнаты с аппаратурой и пультами управления. В боксе сейчас жила ТДУ — тормозная двигательная установка Редькина и Маевского, в комнате — люди. Бокс соединялся с комнатой массивной дверью. Как в бомбоубежище. Два окошечка с толстыми небьющимися стеклами позволяли наблюдать двигатель в работе. В комнате рядом с окошечками большой пульт с кнопками, тумблерами, циферблатами приборов. Карандаш на веревочке. Внизу блестящие никелем штурвалы главных клапанов.

Над головой лампы дневного света. Другие лампы освещают приборную стенку — десятки циферблатов и ряд высоких стеклянных трубок ртутных манометров. На стенку

нацелен фотоаппарат. Часто запуски длятся всего несколько секунд, и, конечно, никто никогда не успеет записать показания всех приборов. Поэтому стенку фотографируют.

В углу рваное по сварному шву сопло и какие-то ржавые железяки. Лежат с Нового года. К майским праздникам будет во всех лабораториях повальная уборка, и сопло снесут на свалку. Снесут много и нужных вещей. Потом инженеры из разных лабораторий будут ходить на свалку «ковыряться», искать, кому что надо. После 1 Мая и 7 ноября на свалке что хочешь можно найти, только не зевай...

В боксе опытная тормозная двигательная установка, чудовищное переплетение трубопроводов и кабелей разных диаметров и цветов, грозди клапанов и реле, динамометры, замеряющие тягу.

Сегодня первые испытания ТДУ. Вернее, не первые, конечно. Уже не раз проводили холодные проливки, сверяли цифры расхода горючего и окислителя. Пока все шло хорошо. (Редькин говорил: отлично!) Сегодня первые огневые испытания. Двигатель должен «запуститься» и проработать положенное ему время. Если все будет хорошо, можно попробовать несколько раз остановить его и запустить снова: посмотреть, мягкий ли у него запуск. А может быть, даже испытать на разных режимах.

На корабле, который должен стартовать на Марс, ТДУ уже есть. ТДУ Егорова. Маевский и Редькин считают ее грубой в управлении. Бахрушин знает, что егоровская ТДУ вовсе не так уж груба и хорошо отработана, но убежден, что истина рождается в споре. Поэтому он включил работу по новой, мягкой ТДУ в план лаборатории. Степан Трофимович, утверждая план на ученом совете, высказался тоже «за». У него были свои тайные мысли. Его устраивала егоровская ТДУ для Марса. Но ТДУ с мягким режимом нужна была ему для Венеры. Там больше гравитационная постоянная, там грозные разряды мешают работать радиоиндикаторам посадки, там облака снижают видимость, и еще черт знает, что там есть. Вот там ему нужна будет мягкая ТДУ, и было бы хорошо иметь ее загодя. Коль скоро она будет, можно бросить лабораторию Бахрушина сразу после Марса на ориентацию обсерватории-спутника на восемь человек, который должен пойти в производство через год, в декабре. Разумеется, всего этого Степан Трофимович Бахрушину не сказал, но своей находке в плане был искренне рад и даже про себя помянул добрым словом этих двух ребят, фамилии которых стояли в графе «исполнители».

Вот так родилась ТДУ Редькина и Маевского. Вернее, не родилась, а рождалась.

## 20

Редькин пришел на стенд ровно в девять. Перевешивая номерок на табельной доске, он увидел, что Маевский уже на месте. Юрка сидел с линейкой на круглом табурете у пульта в неудобной, скрюченной позе и что-то считал.

— Петух встает рано, а злодей еще раньше, — сказал Игорь вместо «здравствуй».

Маевский промолчал.

— Отсекатели проверял? — спросил Игорь.

Маевский замотал головой.

Редькин приоткрыл тяжелую дверь и вошел в бокс. На установке работало двое механиков: Петька Сокол (фамилия его была Соколов) и Михалыч. Поздоровались за руку.

— Ну вот, Игорь все знает, не даст соврать, — продолжал Михалыч прерванный разговор. — Скажи, адмирал ведь больше получает, чем генерал, а? И пенсия у них больше!

— А шут их знает, — ответил Игорь. — А ты что беспокоишься? Или тебя обсчитали?

— Зачем, — скромно потупился Михалыч, — просто интересно...

— Так ведь ты уже и букву «А» и букву «Г» окончил, сам должен знать, — поддразнил Петька, почуяв в Игоре союзника.

— Действительно, — поддержал Редькин, — ты уж где сейчас? Поди, на «Ш».

— До «Ш» далеко, — спокойно отвечал Михалыч. — Вчера начал «Земля — Индейцы», семнадцатый том... Михалыч был человеком удивительным. Начал он здесь работать задолго до войны. При нем шли испытания первых советских ракет. Он запускал первый жидкостный двигатель на кислороде. Сам вез для него из города жидкий кислород. Дорогу к полигону размыло осенними дождями, и телега, в которой стояли дьюары, застряла в грязи. А кислород парил, его становилось все меньше и меньше. Тогда он выпряг лошадей, сделал из оглобель подобие носилок, и они вчетвером перетаскали дьюары по холодной, густой, как масло, грязи. «Гляди, кипятки несут», — кричали деревенские ребята, глядя на белый кислородный пар. Э, да разве можно все пересказать... Многие, кого помнил он совсем еще мальчишками, стали докторами наук, академиками, большими людьми, запросто вхожими в самые высокие кабинеты. Главный, где бы ни встретились они, кто бы ни стоял рядом, здоровался с Михалычем первым. И за руку! Он был в бригаде сборщиков первого спутника, за что получил орден.

Помимо уникальных золотых рук, Михалыч имел голову удивительной емкости, вмещавшую массу различных сведений, как нужных ему, так и совершенно бесполезных. Он, например, помнил число «пи» до двенадцатого знака, точно знал последние изменения курса иностранной валюты, объяснял, как происходит спаривание у китов. Последней его затеей была покупка Большой советской энциклопедии, которую он читал том за томом подряд.

Михалыч был хитрющий и опытнейший механик, друг всех кладовщиков и снабженцев. Он мог достать все, наивыгоднейшим образом составить расписание опытов и провести два эксперимента, где другие едва успевали сделать один. Инженеры переманивали его друг у друга, и борьба за Михалыча заходила подчас так далеко, что в спор должен был вмешиваться сам Бахрушин.

Петька Сокол тоже был когда-то первоклассным механиком, но за последнее время, как говорил Михалыч, «сноровистость утерял».

Два года назад Петьку избрали секретарем комитета комсомола всего предприятия. Должность освобожденная, и Петька со стенда ушел. Работал он хорошо. В райкоме считался одним из лучших секретарей. Чуть было не уехал на фестиваль даже. На следующий год Петьку снова избрали. Тут он возгордился, приобрел сталь в голосе, любил пострадать вызовом на комитет, приспособился говорить на собраниях лихие речи. Петька так свыкся со своим положением «вождя» и всеми вытекающими отсюда привилегиями, что даже помыслить себя не мог ни в каком другом качестве. Поэтому, когда на последней комсомольской конференции его с треском «прокатили», он даже не сразу понял, что произошло. Да, его провалили. Аня Григорьева, комсорг из сектора Егорова, взяла тогда слово и «выдала» ему. Зал сидел — муха летит и то слышно. Потом встал Залесский (уж от него Петька никак не ожидал), потом Квашнин. А перед самым перерывом еще Пахомов из парткома... Почему-то Петька запомнил одну очень обидную его фразу: «Часто живую комсомольскую работу Соколов подменяет фразой и администрированием». Так и сказал: «подменяет фразой». Зал аплодировал, и тогда Петька понял, что его провалили. Ничего, однако, не оставалось делать, как возвращаться в лабораторию на стенд. И Петька вернулся. Все это было осенью. Месяца три Петька ходил сам не свой, смотреть людям в глаза было ему стыдно, словно он совершил какую подлость. Если где смеялись, Петьке казалось — над ним. Если молчали, казалось — бойкотируют. Он совсем извелся.

В чувство его привел Михалыч. Взял в напарники и «натаскал» на новую аппаратуру, которая появилась, пока Петька «сидел в верхах».

Сейчас они вдвоем кончали проверку тормозной установки перед запуском.

— Как отсекатели? — спросил Редькин.

— А что отсекатели? — в свою очередь спросил Петька.

— Смотрели?

— Все смотрели.

— До обеда пустим?

— Не торопись, — сказал Михалыч. — К обеду отладим все, а тогда и пустим...  
— Мы, как слоны: два часа — бросаем бревна, обед! — вставил Петька.  
— Ты уж помолчи, «слон», — едко сказал Михалыч.  
— А может, до обеда? А то завтра Егоров отнимет стенд... — не унимался Игорь.  
— Погуляй, — ласково сказал Михалыч, — не мешай работать...  
Игорь понял: Михалыч до обеда ТДУ не пустит, — и вышел из бокса...

Михалыч не упрявился. Он видел за свою жизнь сотни ракетных движков и знал их нравы лучше другого инженера. Тормозная двигательная установка Редькина и Маевского ему нравилась. Она была красива той неповторимой, понятной далеко не каждому красотой машины, которая идет не от внешнего вида, а от внутренней гармонии и совершенства. Михалыч чувствовал, что она стоит на границе возможного сегодня, чувствовал ее необычность. Поэтому он и не торопился. Если этот двигатель погорит, ему будет его жаль, хотя он чувствовал по многим мелким признакам, что на «Марс» он, конечно, не пойдет...

— Вот как ты думаешь, Петро, — спрашивает Михалыч, подтягивая ключом соединение одного из клапанов, — есть разумная жизнь на Марсе?

— Это знать, бесспорно, интересно, — глубокомысленно говорит Петька, — но еще интереснее: если есть, то лучше или хуже, чем у нас?

## 21

После обеда на испытательном стенде, где должны запустить ТДУ Редькина и Маевского, стало оживленно и празднично. Пришел Кудесник и Ширшов. Кудесник, хоть и начальник, ни во что не вмешивается, считая, что хозяйничать сейчас ему глупо.

Все готово. Михалыч включил сирену. Два протяжных воя: в бокс входа нет.

— Бах просил позвонить, — тихо говорит Редькин Маевскому.

— Если просил, надо звонить, — лениво отвечает Юрка.

— Позвони ты, — говорит Игорь.

Маевский звонит, но, оказывается, Бахрушин у Главного.

— Ждать не будем, — говорит Редькин. — И так уже времени много. Насмотрится еще. Давайте начинать.

Вспыхивают лампы, освещающие приборную стенку.

— Юрка, поснимаешь? — спрашивает Игорь.

— Давай. — Маевский берет в руку маленькую деревянную ручку, похожую на ручку от детской скакалки, с маленькой кнопкой на конце. От ручки тянется провод к фотоаппарату. Нажал кнопку — снимок. Дело, впрочем, не простое: нажмешь чуть раньше, установка не вышла на режим, стрелки шевелятся, снимок смазанный. Задержишься — прогоняешь зря установку, не успеешь все отснять.

Петька Сокол лезет в шкафчик с красным крестом на дверце, достает пук ваты, раздает всем по щепотке. Затыкают уши. Потом Петька, Михалыч и Юрка надевают шлемы и пристегивают ларингофоны. Маевскому шлем очень к лицу. Он похож на знаменитого аса. Игорь шлем не надевает, просто затыкает уши ватой. Он знает, что ларингофоны — «для колорита»: они давным-давно испорчены. Поэтому команды надо отдавать руками. Команду на запуск он дает еще в тишине. А дальше все и без команд знают, что надо делать. Если вдруг потребуется остановить установку, он поднимет над головой скрещенные руки. Вот и все. Только уши намнешь этим шлемом...

Все расходятся по местам. Кудесник и Ширшов как гости — к приборной стенке. Ширшов думает о том, что всякое может случиться. Вдруг ТДУ действительно поставят на «Марс», и тогда очень важно, не запорет ли она систему стабилизации, над которой ему пришлось попотеть, не водит ли ее вправо-влево и еще бог знает как и куда. Он смотрит на циферблаты динамометров подвески. Кудесник знает, что тревоги Ширшова — это «тревоги второго порядка». Важна тяга! Господи! Если бы их тяга была хоть немного больше, чем у

Егорова! Ведь расходы компонентов у них меньше. Тогда все. Тогда победа. Тогда Егоров погорел.

Редькин стоит у пульта, Маевский поодаль, ближе к фотоаппарату. Михалыч — за главным пультом. Петька в углу, у другого щита, присматривает за насосами.

— Сигналь, Михалыч, — тихо говорит Игорь.

Три надсадных, за душу берущих вопля сирены предупреждают: сейчас запуск. Игорь облизал губы. Юрка оглянулся на Игоря. Борис и Сергей не отрывают глаз от приборной стенки.

— Пуск, — громко, но совсем спокойно говорит Редькин.

Все услышали тихий сухой щелчок — это открылись главные клапаны, и в тот же миг налетел страшный, нарастающий с каждым мгновением грохот. Звук этот трудно описать. Он не имеет ничего общего с ревом турбореактивных самолетов. Там рев. Он совершенно не похож на яростные, с присвистом удары гигантских молотов. Там удары. Это и не разламывающийся на разные тона раскат фугасного взрыва и не гром июльской грозы. Нашего акустического словаря не хватает. Это просто Звук, ровное, невероятной силы ликующее: «А-а-а!»

Разом, словно в испуге, прыгнули стрелки приборной стенки. Игорь увидел в окошко, как, накаляя докрасна края люка в полу бокса, росла голубоватая, прозрачная, ярко освещающая все вокруг колонна раскаленных газов. Он не смотрел сейчас на приборы, весь отдавшись этой незабываемой, ни с чем не сравнимой, всегда глубоко волнующей его картине укрошенного металлом непрекращающегося взрыва — так работает ракетный двигатель. Не видя секундомера, он знал: надо останавливать — и поднял скрещенные руки. Бесцветное пламя втянулось в сопло. Свист, потом шипение, потом тишина. Только услышав Звук, понимаешь, какой бывает тишина.

Кудесник радостно обернулся.

— Братцы! Ведь, ей-богу, не плохо! А ну, повторим...

Повторили.

И еще раз повторили.

— Перекур пять минут! — скомандовал Маевский, расстегивая шлем.

— Подожди, давай еще, — возразил Редькин, — с медленной остановкой.

— Перекурим и попробуем, — сказал Михалыч. — Времени еще только три часа.

На стенде курить нельзя. Все вышли. Остался только Кудесник с Редькиным.

— Игорек! Хорошо! — Удивительно радостная физиономия у Кудесника.

Редькин грызет заусеницы.

— Еще, еще надо... Боря! А как работает! А? Хоть на мотоцикл ставь! Ишь ты, курить ушли, сукины дети!

— Ладно, я пойду, может, уж шеф вернулся...

— Скажи им там... Нашли время курить!

На весеннем солнышке у входа на стенд, сидя вокруг врытой в землю железной бочки с окурками, курят Юрка, Петька и Михалыч. Юрка — «Новость», Петька — «Ароматные», Михалыч — «Прибой».

— Читал я в «Комсомолке», — говорит Михалыч, ни к кому не обращаясь, — в Англии научились прямо из травы молоко гнать. Без посредства коровы. Молоко как молоко, запах только немного...

— Бесспорно, возможная вещь, — подтверждает Петька. — А что такого? — И смотрит на Маевского.

Тот молчит, думает о своем. О том, что отсекатели надо было прогнать отдельно на всех режимах, поглядеть, как сработают магниты. Ну да теперь что ж об этом думать? Поздно. И он стал думать о том, что надо не забыть попросить у Никиты из семнадцатой лаборатории магнитофонные ленты с «новой Имой Сумак» и переписать.

Вот вышел Кудесник. Щурится на солнце.

— А где Сергей?

— Пошел в лабораторию, — отвечает Маевский.

— Я тоже пойду... Давайте, Михалыч, запустим еще пару-тройку раз с мягким остановом...

— Сейчас сделаем, — отвечает Михалыч, не двигаясь с места и не глядя на Бориса. Его немного обижают слова Кудесника: будто он сам не знает, что надо делать.

Кудесник уходит. Его фигура на прямой асфальтовой дорожке видна еще долго. Он идет быстро, размашисто. Потом вдруг начинает скакать через лужи, как козел. Весна! Солнце! Запустилась ТДУ! И вообще все отлично! Михалыч видит это, чуть улыбается и говорит категорически:

— Пошли.

## 22

И снова стенд. Все снова стоят по местам.

— Пуск, — снова громко и спокойно говорит Редькин, и снова все заливают Звук.

Правая рука Игоря сжата в кулак, большой палец оттопырен и смотрит вниз. В древнем Риме зрители этим жестом приказывали гладиаторам добить поверженного врага. Тут — это знак постепенного торможения. Палец кверху — постепенного разгона. Михалыч видит палец и медленно вращает штурвальчик на пульте. Звук плавно меняет тон.

И вдруг прерывается с захлебывающимся посвистом.

— Насосы стоп! — кричит Михалыч Петьке, прежде чем Редькин и Маевский успевают сообразить, что произошло. Руки Петьки молниями ударяют в кнопки пульта.

— Все стоп, — уже спокойно говорит Михалыч и оборачивается к Редькину. — Отсекатель. Какой, не знаю.

— Пошли посмотрим, — говорит Игорь.

— Все вырубил? — спрашивает Михалыч Петьку. — Включи вентиляцию.

Михалыч, Игорь и Юрка склоняются над хитросплетениями трубопроводов. Петька стоит поодаль, готовый каждую секунду прийти на помощь.

— Вот он, — говорит Маевский и тычет пальцем. — Наверное магнит втягивает иглу рывком.

— Я плавно регулировал, — говорит Михалыч.

Маевский молчит, потом расстегивает шлем, снимает пиджак.

— Петя, подверни мне рукава, — просит он Соколова, — а то руки в масле.

Петька, долго сопя, возится с запонками. Запонки у Маевского какие-то хитрые.

— В твои годы, — назидательно говорит Юрка, — надо уметь обращаться с запонками.

— А я вот их не уважаю, — говорит Петька.

— Это почему же?

— Время отнимают: вдевай — вытаскивай...

— Кончайте вы с запонками! — зло кричит Игорь. — Нашли время! Как бабы!

Он уже залез туда, куда показывал Маевский, и тянет что-то двумя пальцами.

— Горячая, зараза! Так и есть. Ты плавно регулировал, и магнит тянет плавно, а у иглы тугий свободный ход, и она идет рывком... Давайте еще попробуем, я ее покачал, вроде теперь ничего...

Они выходят из бокса, и все повторяется. Только теперь Михалыч может не кричать Петьке. Петька внимателен, весь подобрался, как кот у мышиной норы.

Двигатель снова захлебывается.

У Игоря бешено злой вид. Едва отключили коммуникации, он влетел в бокс и, шепча ругательства, опять что-то тянет, обжигая руки, скалясь и гримасничая.

— Опять она? — спрашивает Маевский за его спиной.

Он сохраняет завидное хладнокровие.

— А то кто ж? — огрызается Редькин,

— Придется разобрать отсекабель...

Игорь что-то яростно дергает к себе — от себя, к себе — от себя...

— Еще раз попробуем, последний раз, — говорит он.

И снова все на местах.

— Пуск.

И снова Редькин жестом римлянина тормозит двигатель. Палец нетерпеливо тычет: вниз, вниз, вниз! Михалыч, уже не глядя на палец, вращает осторожно, словно штурвальчик хрустальный и он боится его отколоть. И опять Звук срывается в клокочущий посвист.

— Сволочь! — кричит Игорь и рывком кидается к двери бокса.

— Куда?

Но крик Михалыча обрывает короткий, глухой, будто далекий взрыв.

Руки Петьки на кнопках. Красивое лицо Маевского в шлеме. Он обернулся от приборной стенки и так застыл, судорожно сжав рукоятку с кнопкой.

Из приоткрытой Игорем тяжелой двери в бокс стелется по полу голубоватый дымок. Михалыч бросается в бокс и очень быстро вновь появляется в двери, держа под мышку обвисшее, неживое тело Редькина. Его мокрая, липкая от крови голова свесилась вниз и чуть в сторону.

— Помоги, — хрипло говорит Михалыч Маевскому.

А Маевский все еще не знает, куда девать ручку с кнопкой, беспомощно оглядывается по сторонам, непонятно спокойный и медлительный. Наконец он вешает шнур на фотоаппарат, подходит, очень осторожно берет и поднимает ноги Игоря.

— Ничего, ничего, — шепотом говорит Михалыч, — об дверь его чуток...

## 23

У дверей стенда, там, где совсем недавно курили, маленькая толпа окружила тупоносый санитарный автобус. Двое в белых халатах выносят из дверей носилки. Белая, вся в чистых бинтах голова Игоря. Почерневшее лицо. Перед дверцами автобуса санитары чуть замешкались. Борис Кудесник подходит к самым носилкам, берет руку Редькина. Секунду они молча смотрят друг на друга очень серьезно. Потом Игорь подмигивает Борису. Подмигивает, как только может весело. Весело изо всех сил.

## 24

Подмигивающий кот над столом Редькина. Пять инженеров сидят на своих местах. Просто сидят, не читают, не пишут, не двигают движками линейек. Сидят прямые, спокойные, все опаленные взрывом там, в боксе. И у всех какие-то неживые руки, в неживых, странных позах.

За окном уже сумерки.

«Почему врач сказал, что ему ничего не нужно? — думает Кудесник. — Что значит — не нужно? Что он имел в виду? Ничего ему не поможет? Или, действительно, пока ничего не нужно? Группа крови у него вторая. Как и у меня. Кровь — не проблема. За час можно поднять всю лабораторию, весь институт. Надо — цистерну крови дадим. Юркин отец уже там. Это хорошо. А ведь Юрка, подлец, никому не сказал, что звонил отцу...»

«Клапан не закрылся, в камере переизбыток горючего и, разумеется, взрыв, — думает Ширшов. — Ничего, кроме взрыва, быть не могло. У двигателей с таким диапазоном регулирования все зависит от работы клапанов. Постой, где же я видел отличный клапан? Ну да, у отца. Последний номер журнала «Угольная промышленность». Примерно на их расходы и давления клапан. Надо будет завтра снести Игорю в больницу журнал... Обрадуется...»

«Это совсем не ерунда: открытый перелом правой теменной кости, — думает Маевский. — Коммоция мозга, субдуральная гематома в правой теменной области... Это не

ерунда. Все решится сегодня-завтра. Если ему сумеют аккуратно вытащить все осколки и не заташат никакой инфекции, все будет в порядке...»

«Рядом жил человек, работал, хохотал, расстраивался по пустякам... — думает Нина. — И вдруг разом все обрывается... Чудовищно! Ведь сегодня он выиграл у Юрки шахматную партию и ликовал. Я еще спросила: «Когда же вы кончите?» А он засмеялся и сказал: «Все кончается, Нинка, даже зубной порошок в коробочке соседей...» И убежал на стенд...»

«Все космонавты живы, — думает Бойко. — Все, кто летали, живы и здоровы. И вот Игорь... Почему? Взорвалась камера. А почему он испытывал ее? Хотел сделать лучше, чем было сделано до него. А что Седову, или Скотту, или Ливингстону не хватало радости открытой другими Земли? А язвы на руках Марии Кюри, перчатки, всю жизнь, заставил ее одеть радий... Игорь с ними. Он еще мало сделал, но он с ними...»

Вдруг резко зазвонил телефон. Борис Кудесник сидит неподвижно, будто не слышит. А может быть, и не слышит. Ширшов взял трубку.

— Да... А, простите, кто его спрашивает?

Сергей прикрывает рукой трубку и говорит, обращаясь ко всем:

— Это из дома... Как же им сказать?

Нина быстро закрыла лицо руками, ткнулась в стол.

## 25

Ночь. Бахрушин медленно выходит из проходной, идет к «Волге». И вдруг останавливается, увидев мотоцикл Редькина. Пустая площадка, только «Волга» и мотоцикл. Железная глазастая зверюга с детенышем. Бахрушин долго стоит и смотрит на мотоцикл. Одна мысль: «Неужели он умрет?»

## 26

Ночь. За столом под абажуром перед большой чашкой чая, неподвижно глядя куда-то вдаль, сидит Главный Конструктор.

«Редькин, — думает он. — Какой же он, этот Редькин?.. Никак не могу вспомнить его лицо... Фамилию помню. Редькин, который у Бахрушина делает мягкую ТДУ. Хорошо помню... А вот лицо... Очень трудно, и... очень надо запоминать лица... Я обязан помнить тысячи лиц... Редькин, Редькин... Говорят, увлекся и забыл обо всем... Но где-то, в главном, он прав: что стоят те, которые не увлекаются! Увлеченность должна быть постоянным состоянием человека... Редькин, Редькин, никак я тебя, дружище, не вспомню...»

Вошла жена.

— Пей чай, Степа. Совсем остыл... И ложись, уже поздно.

«Надо заехать к нему», — думает Степан Трофимович.

И сейчас ему кажется, что он съездит, завтра же съездит в больницу, выберет время и съездит...

Он не съездил: утром он улетел в Москву.

## 27

Прошло два месяца.

Вечер. Пустынная набережная. Вдалеке две маленькие фигурки. Погромыхивая бортами, летят грузовики. А легковые машины — сами по себе. И даже как-то не верится, что в них — люди. Сидят, смотрят по сторонам, видят эти две маленькие фигурки у гранитного парапета. Слепые, деловитые легковые машины, вроде бы живущие своей, не связанной с людьми жизнью.

Андрей и Нина идут по набережной: там всегда мало народа. Андрей в штатском. Серый костюм, модный такой, «пижонский», с разрезами по бокам пиджак.



— А вот еще, — весело говорит Андрей. — Вспомнил. Американец, француз, англичанин, русский и еврей летят в самолете...

— Раздолин, что с тобой? — перебивает Нина.

— А что?

— Вот я и спрашиваю: что?

— Ничего...

— Почему ты сегодня все скользишь из рук, похохатываешь... Что-нибудь случилось?

— Ничего не случилось.

— Это неправда. Но ты можешь не говорить. Только не надо вот так...

Андрей молчит. Идут дальше, вроде бы как и шли, а уже не так: произошло еле уловимое смещение фигурок на пустынной набережной.

— Слушай, — говорит Андрей. Он останавливается, берет ее за плечи. — Хорошо. Я скажу. Ну кому же я еще могу сказать?.. Нина, это очень важно. Сегодня было решение: полетят Воронцов и я.

— А Толя? — рассеянно спрашивает Нина.

— Толя — дублер Воронцова.

— Ну как же так? Бахрушин говорил, что вероятнее всего Агарков и Воронцов...

— Я сам не знаю как... Я очень хотел... Я очень счастлив, Нинка...

— Раздолин... Ты летишь на Марс? А как же я?

— Как ты? Но ведь я же прилечу.

Она обняла его крепко и, зажмурившись, прижалась головой к его груди.

— Я глупая, Раздолин... Да-да, все верно, все верно... Ведь ты же прилетишь...

— Нинка, послушай, — быстрым шепотом говорит Андрей, — я вчера еще ничего не знал... И вот вчера я не спал долго и все думал... Я мальчишкой жил в Гурзуфе одно лето... Помню море и скалы в зеленых водорослях... И ночью луну, очень большую... Мы поедем туда, Нинка, когда я вернусь... Я хочу просыпаться рано-рано и гладить тебя по голове, когда ты спишь. А потом мы побежим на море... Ты будешь такая сонная, растрепанная... Потом будем пить молоко и молчать... А вечером, когда луна, мы уйдем в черную тень деревьев, и я буду тебя целовать и говорить самые ласковые слова, какие знаю... Но все это должно быть после Марса, понимаешь... Я думал вчера, что, если я не полечу, так, наверное, не будет... Понимаешь...

— Так будет, так обязательно будет... Какое сегодня число?

— Двадцать второе.

— Уже скоро. — Я буду ждать тебя. Ты даже не знаешь, как я буду ждать тебя, Раздолин!

Две маленькие фигурки стоят, прижавшись друг к другу на большой пустой набережной. Только машины снуют взад-вперед по своим машинным делам, и плевать они хотели на людей.

## 28

И вот настал день их отлета на космодром.

Они вылетели поздно вечером. Самолет долго выруливал на старт, и Нина смотрела, как за иллюминатором медленно проплывали цветные фонарики у края бетонированной дорожки. Потом самолет остановился. Взревели двигатели, он задрожал, возбужденный предстоящим бегом. Он стоял еще несколько секунд, словно глубоко вздыхая перед трудным делом, которое ему предстоит. Потом побежал быстрее, быстрее, вздрагивая на стыках бетонных плит. Потом Нина почувствовала, что он перестал вздрагивать: они уже летели.

В самолете человек двадцать. Нина сидела со своими ребятами, но впереди, одна. «Он приедет через неделю, — думала Нина, — и, конечно, ему будет не до меня... А потом... Потом еще шесть месяцев. Целых шесть месяцев я не увижу его... Он спрашивал: «Не забудешь?» «Глупый мальчик... Господи, какой он глупый, мой мальчик...»

За Ниной, уткнувшись в журнал, сидел Маевский, решал кроссворд. Рядом Ширшов с английской книжкой в руках и словарем на коленях. Он заглянул в словарь и тронул локоть Юрки:

— Смотри, «credit» по-английски — это кредит — честь, вера, уважение, влияние. Неплохо, а?

Маевский посмотрел на него невидящими глазами. Такой взгляд бывает у людей, когда они на ощупь ищут что-нибудь в карманах и не могут найти.

— Вот дьявол! Остров в Эгейском море, пять букв, кончается на «ос».

Сергей призадумался, потом сказал убежденно:

— Там все острова на пять букв и у всех на конце «ос»: Родос, Милос, Самос, Парос...

— А есть такой — Парос?

— Вроде бы должен быть.

Юрка мгновенно отключился, нырнул в кроссворд, зашептал беззвучно губами.

Через проход от них — Борис Кудесник и Виктор Бойко. Кудесник откинул спинку кресла и закрыл глаза. Виктор задумчивый. Впрочем, он всегда задумчивый. Смотрит в иллюминатор. Там просто темень, ни огонька.

— Боря, — тихо спрашивает Виктор, — кто твой любимый поэт?

— Пушкин, — отвечает Кудесник, не открывая глаз. — Тебе это не кажется примитивным?

— Чудак, — ласково говорит Виктор.

Кудесник тихо, почти шепотом, вдруг начинает читать стихи:

Я новым для меня желанием томим:

Желаю славы я, чтоб именем моим

Твой слух был поражен всечасно,

чтоб ты мною

Окружена была, чтоб громкою молвою

Все, век вокруг тебя звучало обо мне.

Чтоб гласу верному внимая в тишине,

Ты помнила мои последние моления

В саду, во тьме ночной, в минуту разлученья...

— Ты понимаешь, это Пушкин писал. Пушкин! — Он помолчал и добавил: — Вот за это я его и люблю: за правду. Самое главное в поэзии — правда.

— И не только в поэзии, — сказал Виктор.

— Да, не только...

— Ложь накапливается в человеке, как ртуть, — отвернувшись к иллюминатору, сказал Виктор. — Ртуть ничем из человека не достанешь, не залечишь... Так и ложь... Можно, конечно, скрыть ложь ложью... Как скрыть ртуть в своем теле, улыбаться... Но если доза большая, это приводит к смерти... Да, ты хорошо сказал: главное — правда... Что такое коммунизм? Наверное, уничтожение всякой лжи...

Кудесник открыл глаза.

— Этого мало, Витя. Кажется, Наполеон говорил: есть две силы, способные двигать людьми, — личная выгода и страх. Для меня коммунизм — в уничтожении этих двух сил. А ложь — уже потом. Ложь — это первая производная от страха. Подлость — вторая производная...

— Когда мы прилетаем? — обернулась Нина.

— В четыре утра, — сказал Кудесник.

Скоро рассвет. И все предметы в комнате являются из темноты, начав светиться, словно изнутри, чуть приметным мягким светом. Это даже не свет, а воспоминание о свете.

Наступает редкое время, которого не бывает вечером: время призрачной темноты. Свет уже незримо проник в нее и разрушает, растворяет сумерки...

Окно распахнуто настежь, и легкий ветерок чуть трогает тонкую занавеску, за которой, топая по железу карниза, стонут голуби. Они воркуют с какой-то фальшивой страстью, напоминающей стоны человека, который притворяется, будто ему действительно тяжело.

Воронцов лежит в постели на спине, закинув одну руку за голову, а другой обняв жену. Вера как-то уютно ткнулась носом ему в шею.

— Ты вернешься в декабре, — говорит Вера. — Будет уже холодно, кругом снег...

— ...и мы поедem в лес кататься на лыжах, — добавляет Николай.

— Который год мы все собираемcя...

— Даю слово: в этом году мы обязательно поедem... Только мне надо купить новые ботинки... Купи-ка ты мне ботинки, а?

— Коля, ну до лыж ли тебе будет?

— А почему не до лыж?

Вера приподняла голову и взглянула на Воронцова.

— Хорошенькое дело: прилетел человек с Марса и уехал кататься на лыжах!

— Именно так. А почему человек, слетавший на Марс, не имеет права покататься на лыжах? — Воронцов покосился на Веру.

— Колька, ты у меня самый наивный человек на свете, но я тебя люблю, — шепотом говорит Вера и снова уютно прижимается к Николаю.

Они лежат тихо, слушая надрывные стенания голубей.

— Знаешь, что мы забыли сделать? — говорит Николай.

— Что?

— У нас там есть магнитофон. Надо было записать птичьи голоса. Я слышал такую пластинку: пение разных птиц. Вот ее надо было переписать на пленку и взять с собой...

— Марсианам заводить? — сонно спрашивает Вера.

— А что? И марсианам... Вот я все думаю: в космос всегда будет нелегко летать... потому что ни на каком корабле нельзя взять с собой все: ветер, дождь, птиц, речку, людей, которые идут по улице... В космос может улететь очень большой корабль, но человеку нужна вся Земля, понимаешь?

— Угу...

— Ты спишь?

— Не...

— Вот мы слетаем на Марс, а за нами полетят другие, десятки, сотни ракет... Там построят сначала станцию, как на Луне, потом вырастут целые города. Люди будут жить, родятся ребятки — первые настоящие марсиане... Представляешь, в графе «место рождения» они будут писать: Марс. И это никого не удивит. И все-таки Марс не будет для них родиной. Не будет хотя бы потому, что там нельзя пройти утром босиком по росе... Ты спишь?

— Не...

— Ну, спи! Уже светает.

Они лежат, прижавшись друг к другу, и лица их тоже чуть-чуть светятся.

Засыпая, Воронцов думал о том, что завтра Роман Кузьмич обязательно заметит, что он не спал в эту ночь. Но ведь это последняя ночь дома, должен же он понять...

### 30

Мать Раздолина, сухонькая опрятная старушка в темном ситцевом платье и заплатах — видно, любимом — фартучке, взволнована, но показать это не хочет.

Они сидят на кухне. Андрей поел перед дорогой, выпил чаю. Он не по-домашнему застегнутый, подобранный, и, хотя сидит он спокойно, мать видит, что он может встать

каждую секунду. Встать и уйти. Вчера он сказал ей: «Мама, я уезжаю». — «Надолго?» — спросила она, хотя знала, что не это главное. Главное, что он вообще уезжает, что наступил час его и ее испытания. Но она спросила: «Надолго?» — «Да. На полгода», — ответил он.

С необыкновенной интуицией, данной только матерям, она догадывалась о том, что ждет ее сына. Давно догадывалась. А потом она увидела у него фотографию Димы, ну, того самого, который летал на Луну. На ней черными чернилами было написано: «Андрюшка! Я еще буду тебе завидовать! Ведь твоя дорога — обязательно и дальше и трудней...» Она прочитала эти слова и поняла, что не ошиблась.

— Я ватрушку твою любимую сделала, — говорит она.

— Спасибо.

— Ты поездом или самолетом?

— Самолетом.

— Ну вот и съешь в самолете... Ты напиши мне, Андрюша, хоть открыточку... Все ли благополучно...

Он улыбнулся и встал.

— Мама, все будет благополучно. А открыточку я напишу.

Она подошла к нему, такая маленькая, старенькая, и он обнял ее за плечи.

— Не надо, мама...

— А я ничего, я ничего, — говорила она, быстро перебирая пальцами края фартучка, моргая, улыбаясь и глотая слезы. Потом, совладав с собой, спросила:

— Андрюша, сыночек, ты на Луну летишь? Я никому не скажу... На Луну?

— Нет, мама, не на Луну. Еще дальше...

— О господи!..

— Ну, мне пора.

— Давай присядем перед дорогой...

И они присели к столу. Андрей смотрел на нее и думал: «Совсем недавно я уезжал в пионерский лагерь... Она спекла мне ватрушку, и мы тоже присели перед дорогой... 55 километров от мамы... А теперь я уезжаю на Марс. 55 миллионов километров от Земли...».

Он встал первым и, нагнувшись, крепко поцеловал ее. Еще и еще.

Она проводила его до дверей квартиры и стояла на площадке, глядя, как он спускается по лестнице. Андрей обернулся:

— Мамочка, иди.

— Андрюша, ты уж там поосторожнее... Береги себя...

— Хорошо. Ты иди.

Но она стояла еще долго, уже не видя его, но слыша его шаги, пока звонко, как выстрел, не ударила внизу дверь подъезда.

## 31

Недвижно повисло над степью в бесцветном небе солнце. Жарко. Ракета стоит на стартовой площадке, и от нагретого металла ракеты и монтажной башни, окружающей ее, подобно строительным лесам, поднимается миражный, ломающий линии крыш ангаров ореол горячего воздуха. Поодаль от ангаров, ближе к стартовой площадке, ровным строем стали гигантские автомобили, цистерны и специальные машины-фургоны с аппаратурой, подстанциями, компрессорами, коммутаторами связи и еще неизвестно с чем, без чего никак не обойтись. От автомобилей тянутся к монтажной башне провода. На разных ее этажах, на самом верху, где под защитным колпаком укреплен межпланетный корабль «Марс», и внизу, у огромных сопел двигателей первой ступени, — люди. Здесь, на стартовой, их немного, человек двадцать. И все они заняты одним очень важным делом: последней проверкой машины перед стартом.

У одного из люков в корпусе ракеты — Виктор Бойко и Сергей Ширшов.

— Обещали Баху к двум часам все кончить, а уже три, — говорит Виктор, взглянув на часы.

Жарко, и Сергей в скверном расположении духа.

— Только дураки обещают, — ворчливо отвечает он, — а умные не обещают, а делают... Нинка зашилась...

— При чем тут Нинка?

— А разве я говорю, что она «при чем»? Что-то у них там не контактит. — Сергей кивает вверх.

Сергей Ширшов принадлежал к той породе людей, которые работают тем лучше, чем лучше это у них получается. Кудесника неудачи подстегивали. У Маевского вызывали недоумение. Ширшова повергали в уныние и лишали уверенности в себе. Бахрушин понял это и никогда не критиковал Сергея: понимал, что будет только хуже. Как всякий мнительный человек, Ширшов болезненно реагировал на все, что о нем говорят. И даже самая малая, мимоходом брошенная все равно кем — Эс Те или механиком на стенде — похвала удеснячила его силы. Тут уж он «разбивался в лепешку». У него появлялась бульдожья хватка в работе, злая, остервенелая, расчетливая. Его движения становились безукоризненно точны. Так же точно и цепко он думал. Именно так он работал вчера после того, как пришел Бахрушин, посмотрел его записи и сказал весело: «Сережа! А вы молодец!» Так он работал и сегодня, пока не оказалось, что во второй ступени что-то барахлит. Ширшов еще не знал, что именно, но это уже злило его и мешало работать. Он нервничал. Он часто смотрел на часы. Он ловил себя на том, что прислушивается к голосам наверху.

А наверху, выше этажом, — Борис Кудесник и Юрий Маевский. Перед ними аккуратные ящички приборов, весело перемигивающиеся разноцветными глазками.

— Нина, давай еще раз, — говорит Борис в микрофон. Кудесник нажимает кнопку. Голос Нины из пластмассовой коробочки-репродуктора:

— Тридцать пять сотых.

Она сидит в кабине межпланетного корабля в кресле Раздолина. С тех пор как мы впервые увидели эту кабину, тут многое изменилось. Главное — осталось только два кресла. Стало немного теснее. Мягкие пенопластовые стены уже не белые, а приятного зеленого оттенка. Приборы остались те же. Совсем светло: иллюминаторы горят от солнечных лучей, как прожекторы. Солнечный зайчик дрожит на кнопках пульта. Нина подкручивает зажим шарового шарнира, на котором у одного из иллюминаторов закреплен киноаппарат, и зайчик успокоился, перестал дрожать.

Голос Кудесника:

— Давай повторим...

— Давай, — говорит Нина и смотрит на экран маленького прибора, похожего на осциллограф.

На экранчике горбом взметнулась светло-зеленая яркая линия и медленно поплыла в сторону.

— Тридцать пять и пять... Можно считать тридцать шесть сотых, — говорит Нина.

— Хорошо. Я сейчас поднимусь, — отзывается голос Кудесника.

## 32

Вечер. В кабине космонавтов включен свет. В одном кресле — Нина, в другом — Борис.

Голос Маевского:

— Внимание!

Снова с быстротой змеи прыгнула, выгнувшись, светящаяся линия и поплыла... Кудесник и Нина молчат.

— Ну что? — спрашивает голос Маевского.

Кудесник отрывает взгляд от экранчика и говорит микрофону:

— Юра, быстро проверь все контакты и сопротивления на клапанах: 12-2, 13-2, 17-2 и 18-2. Проследи, прощупай пальцем все провода к этим клапанам, начиная от главных запорных первой ступени...

— Но Егоров уже смотрел, — говорит голос Маевского из репродуктора.

— Посмотри еще раз. Только быстро.

Юрка Маевский сделает все точно. Проверит контакты и сопротивления проверит. И прощупает провода. Он, наверное, уже начал это делать. Юрка Маевский знает, что ничего там не обнаружит. И он, Кудесник, тоже знает. Егоров смотрел и ничего не нашел. И он не найдет. Но Юрка все проверит: «А вдруг!» Именно Юрка проверит лучше всех: педантично и неторопливо. У него ясная и холодная голова. Даже сейчас холодная и ясная. Он понимает, что сейчас здесь, на стартовой, решается задача со многими неизвестными. И он решает одно уравнение за другим, срывает с неизвестных маски. Одну за другой. Он, Кудесник, знает, что Юрке ничего не надо объяснять, ему все ясно. Все так же ясно, как ему самому. И он не сделает сейчас лучше, чем сделает Юрка. Замечательно, что есть Юрка!

— Ну, как там? — спрашивает Кудесник.

Репродуктор молчит.

Кудесник отодвигает микрофон, оборачивается к Нине.

— Хочешь вафли?

— Хочу.

Борис протягивает начатую пачку. Нина берет, но не ест.

— Боря, в чем же дело? Почему такое запаздывание?

Борис молчит. Потом говорит:

— Иди поспи. Мы справимся. Тебе надо отдохнуть.

— Ты же знаешь, что я не пойду, — просто говорит Нина.

Борис опять молчит, потом вдруг его словно прорвало:

— В огромной отличной машине есть какая-то зараза, микроб, который гадит!! И мы, как идиоты, не можем эту падаль отыскать!!

— Не ругайся, — устало говорит Нина. — Помнишь, как советовал Игорь: «Никому не рассказывай о своих горестях: друзей это опечалит, врагов — развеселит...» Борис улыбается, пододвигает микрофон.

— Ну, как там?

— Все в порядке, — глухо отвечает голос Маевского.

— Если и дальше все будет в таком порядке, мне лучше спустаться отсюда без лифта, вниз головой, — мрачно говорит Кудесник.

— Когда надумаешь, сообщи. Я позову Баха. Пусть посмотрит, на что способен наш простой советский инженер! — Голос у Маевского совсем другой, веселый голос.

### 33

Ночь. Ярко освещенная прожекторами стартовая площадка. Бахрушин и Кудесник внизу, у подножия ракеты.

— Сейчас мы с Маевским проверим, не замыкает ли на корпус в девятом отсеке, — говорит Кудесник, — а Бойко с Ширшовым — изоляцию первой ступени. Если там все в порядке, снимем реле на стабилизаторе частот, посмотрим, может быть, это оно барахлит. Теперь уж не знаешь, на что и думать...

— Хорошо, давайте так, — говорит Бахрушин. — А где Нина?

— Она заснула... Там, — Кудесник ткнул пальцем в небо. — Вторые сутки, Виктор Борисович.

— Хорошо. Надо найти. Надо найти! — Бахрушин говорит это уже не Борису, а самому себе...

Маленькая комната. Стол, кровать, три стула. Бахрушин за столом склонился над огромной электрической схемой. В углу схемы синеее штамп «Совершенно секретно».

Бахрушин разглядывает схему, что-то аккуратно помечает в блокноте, по пунктам: 1, 2, 3... Вдруг замирает в радостном оцепенении, как охотник, завидевший зверя. Но тут же бросает карандаш. Зверь оказался гнилым пнем. Он подходит к окну, достает баночку растворимого кофе, насыпает три ложки в чашку и заливает кипятком из термоса. Но не пьет, ставит чашку на подоконник. И снова берет карандаш, снова разглядывает схему...

### 34

Над степью занимается утро. Стартовая площадка. На разных этажах огромной монтажной башни фигурки людей. Человек двадцать. Все то же, словно и не прошли еще одни сутки.

— Внимание, — говорит Кудесник в микрофон.

— Тридцать шесть сотых, — отвечает голос Нины.

### 35

Главный Конструктор был крут и не всегда справедлив. Но Бахрушин понимал: другим быть на его месте трудно, если не невозможно. Он давно знал Главного. Задолго до того, как он стал Главным. Когда-то, молодыми авиационными инженерами, они начинали вместе. Потом их пути разошлись на многие годы. Это были очень трудные годы для Степана. Он дрался за ракету. Дрался с начальством и коллегами, с высокопоставленными чиновниками в наркоматах, дрался с теми артиллерийскими генералами, которые ни о чем, кроме ствольных орудий, и слышать не хотели. Однажды он рассказывал, как один из них кричал ему в лицо: «Идите на игрушечную фабрику! Там ваше место! А нам эти фейерверки не нужны!»

Сейчас, когда Степан победил, Бахрушин часто думал о той огромной вере, стойкости, мужестве; великом оптимизме коммуниста, которые нужны были, чтобы победить. Очень не просто и не легко далось все, что было теперь у Главного: опытные заводы, конструкторские бюро, полигоны, ракетодромы, звезды Героя, странная бесфамильная слава... Теперь он **Главный**, он командует огромной армией, много лет находящейся в непрерывном и напряженном наступлении. Бахрушин знает, как Степан умеет командовать, как умеет он заставить людей работать. Люди, преданные делу, и не чувствовали, что их «заставляют». Но немало было и таких, которые чувствовали. Очень хорошо чувствовали...

Бахрушин уважал Степана за прямоту и принципиальность. Главный нигде и никогда не «финтил», не поддакивал. Он очень редко и как-то вроде бы неохотно ругался, но умел с удивительной быстротой найти в минуты гнева самое злое и меткое слово. Человек дергался от этих слов, будто на него брызгали кипятком. Это не скоро забывалось. Может быть, он и не ругался именно потому, что любая брань безлична и скоро забывается. А он хотел, чтобы люди не забывали о своих проступках. Не забывали, чтобы не повторять их.

Главный не боялся доверять людям, потому что знал, что люди дорожат его доверием. Нельзя сказать, что он не прощал ошибок, как нельзя сказать, что он их прощал. Наказание измерялось, как ни странно, не последствиями того или иного промаха, а причинами, вызвавшими его. Бахрушин твердо знал, что сейчас, вот в эти трудные минуты, Главного не столько беспокоит то, **что** произошло в ракете, сколько **почему** это произошло.

С ним могли работать только честные люди. Он чуял «ловкачей» (так он называл самый ненавистный для себя сорт людей), как кот чует мышей. Впрочем, и «ловкачи» чуяли его, как мыши кота. Главный привык отвечать за слова свои и дела, и такого же ясного, полного и короткого ответа требовал от других. Более всего ценил он людей, знающих до тонкостей свое дело. И в то же время не любил тех, кто старался продемонстрировать перед ним свою осведомленность: часто детали вопроса его не интересовали. Вернее, он не мог себе позволить интересоваться деталями. Кто-то хорошо сказал однажды, что Главный работает «в режиме да — нет».

Он был добрым. Да, Бахрушин знает, что он был добрым человеком, но он никогда не был мягким. Никогда не просил «по-хорошему». Он требовал. Требовал не только потому,

что был вправе требовать, но и потому, что считал просьбы категорией человеческих взаимоотношений, недопустимой в своей работе.

И вот сейчас, когда Бахрушин шел по солнцепеку к белому зданию штаба, он ясно представлял себе будущий разговор с Главным. Кричать он не будет. Он вообще почти никогда не кричит на космодроме. Умный человек, он понимает, что криком тут ничего не добьешься. Железо есть железо, субстанция неодушевленная. Подстегивать людей можно до определенного предела, потом все уже идет во вред: люди нервничают, и железо торжествует. Все, что можно было сделать, Бахрушин сделал. И Главный это знает. Разговор будет короткий, «в режиме да — нет».

### 36

Кабинет Главного Конструктора на ракетодrome. Он очень похож на его маленький городской кабинет. Такой же белый телефонный аппарат с гербом СССР на диске, такой же лунный глобус. Быстро крутит резиновыми ушами, поводит вправо-влево остроконечной головой вентилятор-«подхалим».

Главный в простой трикотажной тенниске, в мятых легких брюках и дырчатых сандалиях, ужасно какой-то нездешний, дачный, сидит за столом над бумагами, медленно прихлебывая из запотелого стакана ледяную минеральную воду. Когда входит Бахрушин, Главный отодвигает стакан и чуть привстает для рукопожатия.

— Садитесь, Виктор Борисович.

Бахрушин сел.

— Что нового?

— Ничего.

— Итак, запаздывание команды на включение второй ступени три десятых секунды.

Так?

— Больше. Тридцать пять — тридцать шесть сотых.

— Так... Может быть, где-нибудь разрядка на корпус?

— Возможно.

— Проверить можно?

— Можно. Но все проверить трудно.

— Знаю, что трудно,

— Два дня люди работают... Вернее, двое суток...

— Да, я знаю... Хотите нарзану? Холодный...

— Спасибо, не хочу.

Главный отвернулся, помолчал. Потом искоса, как-то подозрительно взглянув на Бахрушина, сказал:

— У меня предложение: давайте сменим машину.

— Не успеем.

— Надо успеть. До старта почти сорок часов. Москвин и Яхонтов вам помогут.

Бахрушин молчит. Он знает: сменить машину, убрать одну ракету и поставить другую за такой срок — это почти подвиг. Впрочем, почему «почти»? Это подвиг. А люди очень устали.

— Мы все-таки узнаем, откуда берутся эти тридцать пять сотых, — вдруг зло говорит Главный. — Подниму протоколы всех испытаний. Под суд отдам!

— Может быть, люди не виноваты.

— Тем более надо узнать!

Помолчали.

— На этой, — Главный кивнул в окно, — можно прокопаться еще неделю... Давайте менять, Виктор Борисович.

Бахрушин понимает, он отлично понимает, что Главный прав. От этого, конечно, не легче, но Главный прав. И он говорит:



— Ясно, Степан Трофимович.

И встает.

— Вот теперь я выпью вашего нарзана, — говорит он со своей удивительно обаятельной улыбкой, очень просто, как умеет это делать один Бахрушин.

Крошечные пузырьки в стакане лопаются, и нарзан приятно так шипит. Бахрушин пьет маленькими глотками, потому что холодно зубам.

### 37

Темная звездная ночь, последняя ночь перед стартом.

На скамейке у белого домика, окруженного тоненькими, хиленькими тополями, сидит Роман Кузьмич, главный «космический» доктор. Его не сразу и заметишь. Только когда наливается вдруг красным светом папиросный пепел, видно, что кто-то сидит на скамейке. Тихо. Пилят кузнечики. Слышно, как едет по шоссе машина. Сюда едет. Побежал по придорожным столбам молочный свет фар. Метров тридцати не доезжая до домика, машина остановилась. Фары погасли, и стало еще темнее, чем было. И еще громче грянули кузнечики. Хлопнула дверца. Темная фигура, спотыкаясь, двинулась от шоссе на огонек папиросы.

— Осторожно, там кирпичи, — заговорщицким шепотом говорит Роман Кузьмич. — Кто это?

— Это я, — отвечает фигура.

— Степан Трофимович? Добрый вечер!

— Здравствуйте, Роман Кузьмич!

Главный Конструктор садится на скамейку рядом с Романом Кузьмичом. Молчат. Доктор понимает, зачем приехал Главный, а Главный знает, что доктор понимает. Вот они и молчат. Тихо. Пилят кузнечики, но от этого тишина становится еще более глубокой.

— Хотите папиросу? — спрашивает доктор.

— Спасибо, не хочу... Спят?

— Спят, как ангелы.

— Удивительные ребята...

— Нормальные, здоровые ребята.

— Ну, нет, что вы, — мягко, но убежденно протестует Степан Трофимович, — замечательные, необыкновенно замечательные ребята.

— Вы прогрессивный отец. — Улыбки доктора в темноте не видно, но по голосу можно понять, что он улыбается. — Чехов, кажется, сказал, что все, чего не могут или не хотят делать старики, считается предосудительным. Хорошо, а? Мы с вами не можем лететь на Марс, но не считаем это предосудительным. Выходит, и я прогрессивный отец.

— А если бы завтра предстояло лететь вам, вы смогли бы уснуть сегодня? — задумчиво спросил Степан Трофимович.

— Думаю, что уснул бы.

— А я бы, наверное, не уснул...

— Скажите, Степан Трофимович, только абсолютно серьезно: вам никогда не хотелось слетать самому?

Главный Конструктор ответил не сразу. Вспыхнула, осветив губы и ноздри доктора, папироса и снова пригасла, словно кто-то передвинул рычажок реостата у маленького красного фонарика...

— Хотелось... Всю жизнь хотелось... — сказал Степан Трофимович. — Ну, я пойду, а то мы еще разбудим их своими разговорами...

Доктор угадал в темноте протянутую ему руку.

— Да, ложитесь. Уже второй час.

Споткнувшись раза два о невидимые кирпичи, Степан Трофимович дошел до машины. Доктор слышал, как хлопнула дверца и Главный сказал шоферу:

— На стартовую.

38

Стартовая площадка светится в ночи издалека, как гигантский волшебный кристалл, идеальные грани которого рождены белыми росчерками прожекторов. Ракета, упрятанная в конструкцию монтажной башни, блестит в их лучах. Это уже другая ракета. Но отличить ее на глаз, разумеется, нельзя. А вокруг нее на разных этажах башни — фигурки людей. Все те же человек двадцать, не больше. Больше просто не нужно, только будут мешать. Сейчас от этих двадцати все и зависит.

Главный стоит в черной тени огромного автомобиля-цистерны и смотрит, как работают люди у ракеты. И ему нравится, как они работают; нет лихорадки, нет крика, суеты, всего того ненавистного ему ложного энтузиазма, который с настоящим энтузиазмом не имеет ничего общего, потому что рождается не от вдохновения, а от нервной спешки и страха. Такой авральный энтузиазм ничего, кроме брака (он убеждался в этом не раз), в конце концов не дает. Здесь была ровная работа с четким внутренним ритмом. Главный стоит уже долго, не выдавая своего присутствия, именно потому, что боится нарушить этот ритм. Люди сами знают, что надо делать, и делают. Сейчас он наблюдатель, полководец на поле боя, когда полки его пошли в штыки. Возможно, постояв еще немного, он бы так и уехал незамеченным, если бы не молодой парень-монтажник, налетевший на него с ручной тележкой, груженной двумя газовыми баллонами.

— Ну... твою мать, — без злобы, с грустной обидой начал парень и осекся, узнав Главного. — Простите, Степан Трофимович, не разглядел...

«Теперь надо уйти так, чтобы все знали, что я ушел», — подумал Степан Трофимович. И он сказал:

— Позовите Кудесника.

Парень, счастливый, что так легко выкрутился из столь щекотливого положения, птицей взлетел на площадку лифта.

Через минуту Кудесник в грязной линиялой ковбойке, весь какой-то скандально неопрятный, стоял перед Главным. «Зачем он меня зовет? — думал Борис. — Ругать не за что, хвалить рано. Да хвалить и не зовут. Значит, или Главный хочет что-то переделать (это самое ужасное, лучше пусть ругает), или узнать, как идут дела».

— Что еще осталось проверить? — спросил Главный, не глядя на Кудесника.

— Каналы главного гироскопа, сигнализацию отключения ступеней в кабине, реле терморегулировки, ну и там уж мелочи...

— Мелочей в этой машине я не знаю, — перебил его Главный.

Борис промолчал.

— К шести утра вы должны все кончить. У вас еще, — он взглянул на часы, — три часа девятнадцать минут.

— Постараюсь успеть, Степан Трофимович...

— Вы должны кончить.

— Мы кончим.

— Хорошо. Я буду у себя. Если потребуется, сразу звоните.

У машины Главный обернулся и увидел, как кабина лифта с Кудесником медленно ползла вверх, к вершине ракеты. Он вдруг, впервые за последние три дня, когда началась вся эта неслыханная карусель с запаздыванием команды на включение второй ступени, испытал чувство какого-то уверенного покоя. Теперь, после разговора с Кудесником, он знал, что все будет хорошо. И от этой уверенности Степан Трофимович как-то сразу ослаб. «Надо лечь... Хоть на два часа, — думал он, садясь в машину. — Что же делать с этим парнем, с Кудесником? Ведь он сделает. Сделает! Орден ему. Сам впишу, если Бахрушин не представит...» И когда машина тронулась, он еще раз оглянулся на сияющий кристалл

стартовой площадки, внутри которого спрятана была вся его жизнь: ракета и люди, которым он верил и которых любил.

### 39

В семь часов утра к стартовой площадке подошел маленький автобус. Из него вышли космонавты, четыре человека в оранжевых скафандрах, неуклюжие, похожие на водолазов. Поворачивают не голову, а весь корпус сразу. Воронцов сосредоточенно спокойный. Раздолин, напротив, какой-то даже несколько рассеянный, улыбается. За ними дублеры — Агарков и Киселев. Они отошли в сторонку, понимая, что они тут «для порядка», «по традиции». С самого 1961 года, с гагаринского полета, не было еще случая, чтобы полетел дублер.

На стартовой площадке две группы людей. В первой — те, кто работал на машине. Во второй — официально провожающие. Их немного. Председатель Государственной комиссии, грузный, солидный, в дорогом, не очень хорошо сшитом светлом костюме. Главный Конструктор (он не переделся, такой же «дачный»), молчаливый, насупленный Теоретик и еще человек пять-шесть начальников основных подразделений и служб. Они стоят, тихо переговариваясь между собой, пока космонавты подошли к первой группе. Монтажник, тот, который наскочил ночью на Главного, весь в масле, не хочет пачкать Воронцова, сует локоть. Воронцов сердится, жмет руку.

— Перед моей свадьбой побреешься? — спрашивает Раздолин у Маевского.

— Мы тебе Нинку не отдадим, понял?

Обнялись.

Кудесник говорит Воронцову:

— Коля, есть просьба... Привези камушек. Маленький. Не мне — Игорю. Я был у него в больнице перед отлетом. Он сказал: «Если не привезет, в следующий раз подложу ему в корабль пластиковую бомбу».

Воронцов улыбается:

— Обязательно. Привет ему... Что у тебя с глазами?..

— Да ничего. Просто устал...

— Спасибо, Борька. — Воронцов обнимает, целует Кудесника. — За все спасибо.

— Да, брось... Ну, счастливо...

Виктор Бойко неумело как-то обнимает Раздолина.

— Что передать марсианам? — спрашивает Андрей.

— Да, собственно, ничего, — совершенно серьезно отвечает Виктор. — Кланяйся...

Ширшов говорит Воронцову:

— Скорее бы вы, черти, улетали. Если бы ты знал, как вы нам надоели...

Андрей подходит к Нине, смотрит на нее.

— Ну, Нинка, я пошел...

— Ну, иди...

Но он не уходит, все смотрит и смотрит на нее. Она поднимается на цыпочки и торопливо, но крепко целует его в губы. И еще. Поднятое наверх прозрачное забрало шлема мешает целоваться.

Потом они подходят к группе официально провожающей. И там тоже по очереди все обнимают и целуют их. Степан Трофимович совсем тихо говорит Николаю:

— Счастливо тебе, сынок... Буду ждать...

Они неуклюже поднимаются к лифту. Перед тем, как войти в кабину, поворачиваются, машут руками.

— До свиданья! — ни с того, ни с сего громко кричит вдруг Председатель Государственной комиссии.

И в этот миг солидность его исчезает. И все видят, что Председатель Государственной комиссии тоже просто человек и взволнован, как и они. И все смеются...

Солнце уже высоко поднялось над степью, и тень ракеты, такая длинная утром, когда Виктор Бойко работал на самом верху, у приборного отсека последней ступени, сжалась, подползла к стартовому столу. Виктор чувствовал, что устал он очень. Хотелось даже не спать — просто лечь, закрыть глаза. Но усталость была совсем иная, чем вчера. Тревожное, бьющее по нервам нетерпение сменилось спокойной добротой. Наверное, больше всего в жизни любил он это состояние спокойной доброты, которая овладевала им всегда, когда он много, с пользой работал и был уверен в сделанном. Все, все в порядке. Космонавты в корабле. И у них все в порядке. Везде все в порядке. Уже объявили часовую готовность. «Остался самый длинный в жизни Андрея и Николая час», — подумал Виктор. Он оглянулся, отыскивая глазами ребят.

Юрка Маевский. Он спокоен. Он всегда верит цифрам, графикам, приборам, и сейчас он спокоен. А вот Борис еще весь в возбуждении этой ночи, весь в движении.

Виктор вспомнил вдруг галерею 1812 года в ленинградском Эрмитаже, портреты легендарных соратников Кутузова. Решительный, быстрый разворот красивой кудрявой головы, отворачивающий на сторону высокий, золотом шитый воротник. Глаза чуть прищуренные, отчаянно дерзкие... Может быть, один из тех, на портрете, — Борькин прадед?

Злое, заострившееся от усталости лицо Сергея Ширшова. Он в наушниках сидит перед микрофоном. Отвечает резко, точно, односложно:

— Да. Полностью. Да. Тоже полностью. Да. На красной черте...

Нина рядом. И у нее наушники. Но она молчит. Изредка пробегает глазами по шкалам приборов. Виктор знает, что делать этого уже не нужно: все в порядке. Сейчас дадут тридцатиминутную готовность, и они уйдут со стартовой. Они уже могут уйти. Но они не уйдут, пока не дадут тридцатиминутную...

## 41

Перед входом на стартовую площадку — доска с белыми пластмассовыми номерами «Приход — уход». Как раз тут такая доска очень нужна: сразу видно, сколько людей на стартовой. Сейчас там, где «приход» висит номерков десять: уже объявили тридцатиминутную готовность, бахрушинские ребята ушли.

Семь номерков — ушли прибористы.

Шесть — ушел Москвин.

Пять — ушел Яхонтов.

Четыре — ушел Бахрушин.

Потом Главный и Председатель Государственной комиссии.

Два номерка, белых пластмассовых номерка, висят там, где написано «Приход»: двое еще остаются на стартовой. Двое не уйдут отсюда. Двое отсюда улетят.

## 42

Командный пункт. У стереотрубы — Главный. В трубу не смотрит.

— Даем пятнадцатиминутную готовность, — говорит кто-то за его спиной.

А из репродуктора, стоящего против главного, вдруг с хрипотцой громкий голос Раздолина:

— Степан Трофимович, а почему музыку у нас вырубил?

— Сейчас организуем вам фокстрот, — с нарочитой веселостью в голосе говорит

Главный. Он не отдает никаких распоряжений, но через несколько секунд включают музыку. «Марш энтузиастов».

— А песню можно? — снова спрашивает Раздолин.

— Можно и песню, — говорит Главный. И вдруг из репродуктора:

Живет моя красotka в высоком терему,  
А в терем тот высокий нет хода никому...

Степан Трофимович улыбается. Впервые за последнюю неделю.

### 43

Над главным пультом командного пункта загорается светлое табло: «Готовность пять минут». Оперативный дежурный у микрофона проверяет готовность:

— Первый сектор?

— Готов! — отвечает репродуктор.

— Второй сектор?

— Готов!

— Третий сектор?

— Готов!

— Группа центра?

— Готов.

— Группа Р-1?

— Готов!

— Группа Р-2?

— Готов!

— А-8 и А-9?

— Готов!

— Тихий океан?

— Готов! Готов! Готов! — один и тот же ответ разными голосами.

— Минутная готовность! — громко и торжественно говорит оперативный дежурный.

Секундная стрелка, большая, тоненькая, как шпага, бежит к красной черте. Громко, все заглушая: «Так! Так! Так!» Ближе, ближе...

— Пуск, — громкий, но спокойный, как тогда у Игоря на стенде, голос. Главный конструктор припал к окулярам стереотрубы.

Рука нажимает кнопку. Все услышали короткий сухой щелчок, и тут же вступили двигатели...

Глаза людей. Они видят ракету. Глаза Главного, Бахрушина, Агаркова, Нины, инженеров, механиков-монтажников. Одни глаза. Пытливые, веселые, измученные, торжествующие, широко открытые, прищуренные. Очень разные глаза. И в этих глазах — неуловимое общее, объединяющее в этот миг этих разных людей: ожидание Победы.

Все выше и выше смотрят люди, все выше...

Нет, это уже не гром старта. Хор ликующих человеческих голосов поднимается над планетой, все выше и выше...

Сталевары у огненного фонтана конвертора. Стараясь перекричать сталь, на ухо одному из них что-то радостно кричит другой. И они смеются.

Девчонка, облепленная платьишком на ветру, стремглав бежит по стерне к еле видимым в хлебном море черным точкам комбайнов. Девчонка, похожая на древнюю Нику, богиню Победы.

Человек в белом халате резко повернул голову от окуляра микроскопа. Совсем без улыбки, наоборот — рассерженно.

Стюардесса — вся улыбка — входит в салон воздушного лайнера и говорит...

Маленькая стойка в маленьком европейском баре. Маленький приемник. И все разом поставили стаканы, отложили газеты и повернулись к нему.

Огромный город. Там еще ночь. Поцелуи влюбленных в тени деревьев. И вдруг желтые буквы вспыхнули, засветили поцелуи, побежали по гигантскому экрану: New Russian Space Ship! Major Vorontsov and captain Razdolin are flying to Mars!!!

Матрос будит спящего товарища. Очень сильно качает, и когда он говорит, ему приходится держаться обеими руками.

Слепые дети в школе. Они сидят, не шевелясь, вытянув шейки в трудном, напряженном внимании, и ловят слова старенькой учительницы.

Вера Воронцова. Она смеется, она плачет, она совсем не знает, как ей быть перед голубыми объективами репортерских аппаратов.

Квартира Раздолиных. Двери настежь. Полная комната людей. Женщины обнимают мать Андрея. Она плачет.

С огромной ротации, подталкивая друг друга, идут первые сигнальные экземпляры «Правды». Мастер берет газету, разворачивает. Два больших портрета: Воронцов и Раздолин. Серым водопадом бежит бесконечная бумажная лента...

И тишина.

В дверях одной из комнат общежития на космодроме стоят четверо: Кудесник, Ширшов, Маевский, Бойко. Они оглядывают свою комнату с каким-то удивлением, словно и не видели ее никогда. Они вошли все сразу, плотной группой, страшные, грязные, очень счастливые и бесконечно, нечеловечески усталые. И остановились посередине комнаты, вроде бы и не зная, что им теперь делать. Кудесник подходит к столу и, запрокинувшись, пьет прямо из графина, дергая небритым кадыком.

— Она небось уже тухлая, — предупреждает Маевский.

— Все, — отдышавшись, говорит Борис и начинает стаскивать через голову ковбойку. Виктор Бойко достает сигарету, мнет пальцами. Потом бросает на стол, идет к кровати...

На стене их комнаты висит маленький пластмассовый репродуктор. Из него позывные, звонкие, чистые, как капли. И голос:

— Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза...

Они не слышат. Они спят. Ширшов, не открывая глаз пошарил рукой по стене, нашел шнур репродуктора и дернул.

*Апрель 1962 — февраль 1963*